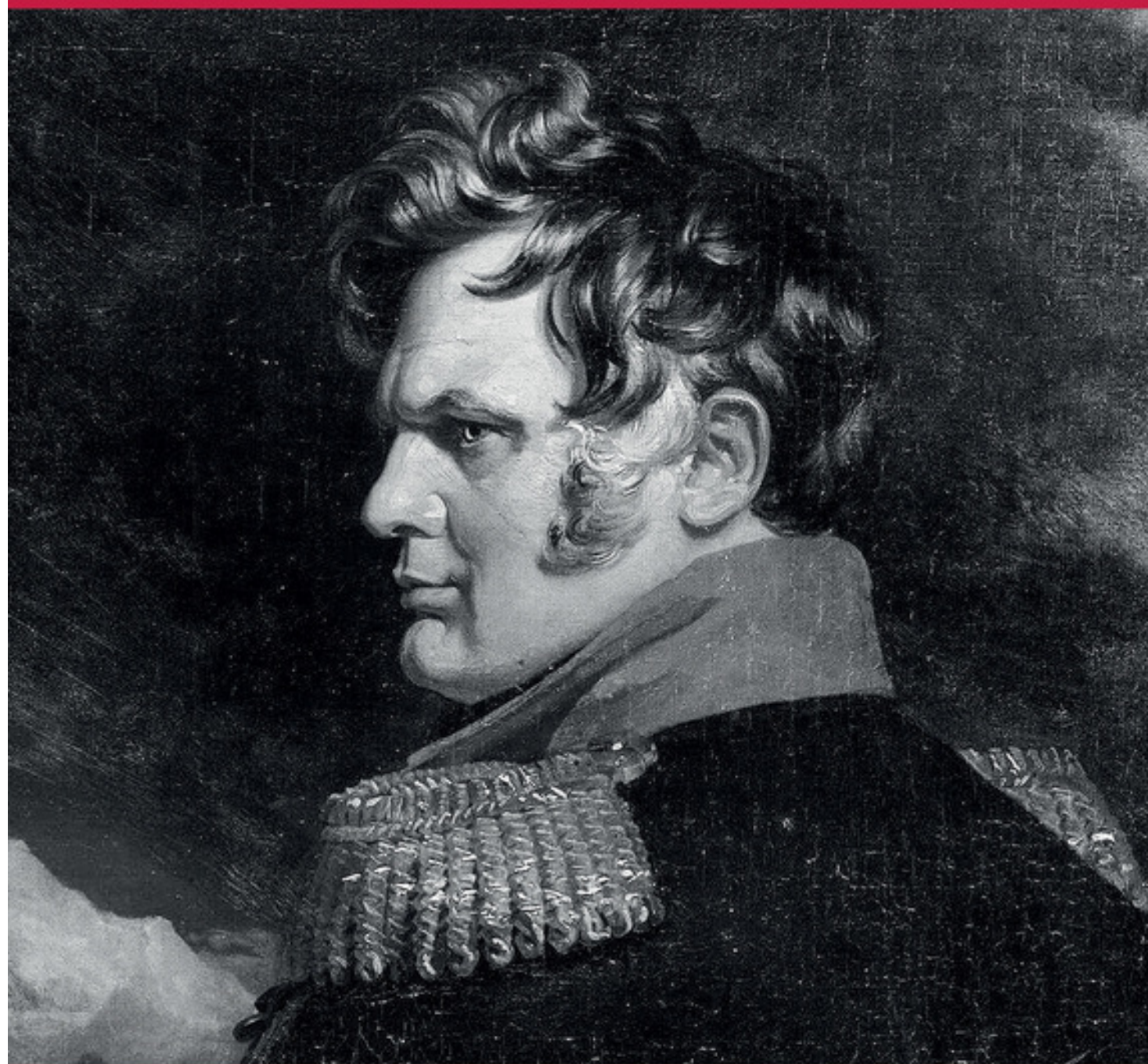


Яков Гордин



ЕРМОЛОВ



Великие россияне

Яков Гордин

Ермолов

«РИПОЛ Классик»

2017

УДК 94(4)
ББК 63.3(2)

Гордин Я. А.

Ермолов / Я. А. Гордин — «РИПОЛ Классик»,
2017 — (Великие россияне)

ISBN 978-5-521-00353-2

Судьба генерала Алексея Ермолова, героя Наполеоновских войн, проконсула Кавказа, — едва ли не самая загадочная и драматичная в русской военной истории.

УДК 94(4)
ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-521-00353-2

© Гордин Я. А., 2017
© РИПОЛ Классик, 2017

Содержание

Начало	6
Польша. Первая кровь	11
Италия. Расширение горизонта	18
Персидский поход. Голос судьбы	23
Катастрофа	35
Новая жизнь	68
Война	80
Пауза	104
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Яков Гордин Ермолов

*Посвящается памяти моих друзей Юрия Давыдова, Юрия
Овсянникова, Андрея Тартаковского, Натана Эйдельмана, Станислава
Рассадына*

* * *

© Гордин Я. А., 2017

© Оформление.

ООО «Издательство «Пальмира»,

АО «Т8 Издательские Технологии», 2017

Начало

1

После крушения Российской империи князь Сергей Евгеньевич Трубецкой, автор глубоко осмысленных мемуаров, писал: «Нет в мире аристократии с более смешанной кровью, чем русская»¹. Это утверждение в полной мере относится и к русскому дворянству вообще.

Эта «смешанность крови» играла не последнюю роль в мировосприятии русского дворянина, окрашивая его имперский патриотизм в особые тона. Поскольку значительная часть аристократических и дворянских родов с полным правом возводила свое происхождение к выходцам из Золотой Орды, то смутное, как правило, представление о своей азиатской прародине в исключительных случаях принимало совершенно неожиданные формы. Так, в один из важнейших моментов своей карьеры – во время посольства в Персию, от результатов которого во многом зависел характер его будущей деятельности на Кавказе, – Алексей Петрович Ермолов объявил себя... потомком Чингисхана – со всеми вытекающими отсюда властными претензиями.

Маловероятно, что Ермоловы могли претендовать на наследие великого завоевателя, но их ордынские корни несомненны. В 1506 году Арслан-мурза Ермола выехал из Орды на службу к великому князю Московскому Василию Ивановичу и получил в крещении имя Иоанн. Отсюда и пошел обширный и разветвленный род Ермоловых.

Смею утверждать, что семейный миф (вряд ли Алексей Петрович на ходу придумал эту историю для персидских вельмож) был одной из важных составляющих сложного самосознания нашего героя и грандиозная фигура кагана, претендовавшего на власть во Вселенной, с некоего момента тревожила если не сознание, то подсознание Ермолова, определяя масштаб его честолюбия и горько оттеняя его реальное положение...

О ближайших потомках Арслан-мурзы Ермола известно мало. Но уже в XVII веке вырисовывается вполне внятная картина крепкого служилого дворянского рода, проявлявшего себя преимущественно на военном поприще.

Ермоловы сражались едва ли не во всех войнах, которые вела Россия в XVII–XVIII веках. Они не выходили на первые роли, но самоотверженно выполняли свой долг вдалеке от придворного мира. Единственным исключением был генерал Александр Петрович Ермолов, дальний родственник нашего героя, оказавшийся в середине 1780-х годов кратковременным фаворитом Екатерины II.

Мать Ермолова, Мария Денисовна, урожденная Давыдова, была первым браком за дворянином Михаилом Каховским и родила ему сына Александра – единоутробного брата Алексея Петровича. Это родство и дружба со старшим братом сыграли в судьбе будущего проконсула Кавказа сильную и сложную роль. Все, кто упоминает о Марии Денисовне, аттестуют ее как женщину незаурядную, с характером прямым и жестким, острую на язык.

Она была родной теткой знаменитого Дениса Васильевича Давыдова, который, таким образом, приходился Ермолову двоюродным братом.

Однако сколько-нибудь заметных следов деятельного участия матери в судьбе сына не зафиксировано ни современниками, ни позднейшими биографами.

Об отце Ермолова Петре Алексеевиче мы знаем гораздо больше. Один из основных биографов Алексея Петровича генерал В. Ф. Ратч суммировал имеющиеся сведения: «Петр

¹ Трубецкой С. Е. Минувшее. Париж, 1989. С. 133.

Алексеевич был из небогатых дворян Орловской губернии и пользовался общим уважением за свой ум, редкую прямоту души и многосторонние сведения. В чине статского советника он был награжден Владимирскою 2-ой степени звездой и служил при родном племяннике князя Потемкина-Таврического графе Самойлове, впоследствии генерал-прокуроре – звание, которому в то время была подчинена администрация почти всей внутренней гражданской части государства».

Петр Алексеевич Ермолов родился в 1746 году. Девятилетним был зачислен сержантом в артиллерию, действительную службу начал в 16 лет и вышел в отставку в 1777 году, в год рождения нашего героя, с чином майора артиллерии. Затем, после длительного периода статской службы, занял пост правителя канцелярии генерал-прокурора Сената, чья власть могла сравниться с властью премьер-министра.

Граф Александр Николаевич Самойлов был храбрым и толковым боевым генералом. Но своей высокой государственной должностью он обязан был в первую очередь близкому родству с Потемкиным.

Мощный родственный клан Потемкиных-Самойловых-Давыдовых-Раевских сыграл определяющую роль в судьбе юного Алексея Петровича Ермолова.

О своем детстве Алексей Петрович вспоминать не любил. Оно и понятно. Судя по всему, суровые родители не баловали его. По скромности своего состояния они не могли нанять сыну учителя, и первые уроки грамоты мальчик получил от дворового, познакомившего его с букварем.

По обычаю того времени Алексей был отдан богатым дальним родственникам Щербининым, в доме которых обучался вместе с их племянником.

Положение его было весьма двусмысленное. Единственным утешением, по собственному его свидетельству, было чтение Плутарха во французском переводе.

Легко себе представить, какое впечатление должны были произвести жизнеописания античных героев на гордого и самолюбивого мальчика по контрасту с его собственным униженным положением...

Можно с достаточной уверенностью сказать, что именно чтение Плутарха заложило фундамент взаимоотношений Ермолова с миром, а Цезарь и Александр Македонский, как мы увидим, на всю жизнь остались для него эталонными фигурами.

В 1784 году отец определил семилетнего Ермолова в Московский университетский пансион, заведение весьма основательное.

В пансионе воспитанники изучали естественное и римское право, историю, математику, статистику России, географию. Воспитатели-иностранцы должны были обучать их европейским языкам. В программу входили светские навыки: танцы, верховая езда, фехтование. И, что особенно важно в нашем случае, основательно преподавались артиллерийское дело и фортификация.

Судя по оставшимся свидетельствам, юный Ермолов был «стародумом». Его не прельщают Вольтер и Руссо. Он явно осуждает интерес своих сверстников к фривольным французским романам. Его не влечет веселый разврат екатерининского времени. Полюбившийся ему в детстве Плутарх с его героями остается фаворитом и в отрочестве, и в юности. Недаром, как только у него появилась возможность, он начал изучать латынь, чтобы читать в подлиннике Цезаря...

До поры судьба юного Ермолова мало чем отличалась от обычной судьбы дворянского отрока.

5 января 1787 года, еще во время пребывания в пансионе, он был записан каптенармусом – унтер-офицером – в лейб-гвардии Преображенский полк. 28 сентября 1788 года был произведен в сержанты.

В августе 1790 года тринадцатилетний Ермолов, выйдя из пансиона, приезжает в Петербург, чтобы начать службу в первом гвардейском полку.

Служба, однако, была пока еще вполне условна. Он лишь иногда бывал в казармах преображенцев, что не мешало ему вскоре получить чин поручика.

Но с этого времени уже начала сказываться родственная связь с семейным кланом Самойловых-Давыдовых-Раевских, над которым возвышалась гигантская фигура Потемкина.

1 января 1791 года четырнадцатилетний Ермолов был произведен в капитаны Нижегородского драгунского полка – при переводе из гвардии в армию офицер «перескакивал» через чин. Перевод не был опалой – это было желание самого Ермолова принять участие в боевых действиях: шла вторая Русско-турецкая война. Его спутником по пути в Молдавию, на театр военных действий, был двадцатилетний лейб-гвардии премьер-майор Николай Николаевич Раевский, внучатый племянник Потемкина. Шефом Нижегородского полка был уже упомянутый Александр Николаевич Самойлов, родной племянник Потемкина.

С этого времени и до смерти императрицы Екатерины в 1796 году Самойлов становится «протектором» – покровителем юного Ермолова.

Об особом положении четырнадцатилетнего капитана говорит и то, что в сопровождающие ему был дан заслуженный боевой офицер капитан Дмитрий Ильич Пышницкий.

Повоевать Ермолову в этот раз не удалось, но пребывание в Молдавии существенно повлияло на его миропредставление и способствовало превращению в офицера-профессионала.

Вопреки существующей легенде, молодой Раевский не был командиром Нижегородского драгунского полка. По прибытии к армии Потемкин отправил его в казачьи части для приобретения боевого опыта, а затем произвел в подполковники и назначил командиром своей «гвардии» – казачьего Булавы Великого Гетмана полка. Это было огромное формирование, включавшее 11 тысяч сабель и 20 орудий.

К этому полку Потемкин присоединил иррегулярную кавалерию, набранную из валахов, болгар, сербов, албанцев. Кроме того, под командованием Потемкина были донские, а также екатеринославские и черноморские казаки.

Все это была, так сказать, личная армия светлейшего князя.

Его действия давали поводы для разнообразных и упорных слухов. Адьютант Потемкина Лев Николаевич Энгельгардт, известный впоследствии мемуарист, писал: «Одни полагали, что он хочет быть господарем Молдавии и Валахии, другие, что он хотел объявить себя независимым гетманом; иные думали, что он хотел быть польским королем».

Вот в этой атмосфере сколь грандиозных, столь и авантюрных проектов – неважно, вымышленных или реальных – начал свою службу юный Ермолов, поклонник героев Плутарха.

Нижегородский полк, в который он был направлен, воевал в это время на Кавказе. Ермолов был назначен старшим адъютантом генерала Самойлова, который, числясь шефом нижегородцев, командовал в это время крупными соединениями в армии Потемкина.

По свидетельству самого Ермолова, он в этот период совершенствовал свое знание артиллерийского дела, наблюдая реформу, которую проводил Раевский в своем полку. Как мы сказали, это был полк Булавы Великого Гетмана, с его двадцатью орудиями.

Полк этот, стратегический резерв Потемкина, в боевых действиях не участвовал. Ермолов, судя по всему, остался именно под командованием Раевского. Имея такого покровителя, как Самойлов, он мог выбирать себе место службы.

В январе 1792 года Раевский, получивший чин полковника, отправился волонтером в Польшу, где шла – при участии России – гражданская война...

Ермолов вернулся в Петербург и был назначен квартирмейстером во 2-й бомбардирский батальон. Это произошло 18 марта, а 14 декабря того же года произошел еще один значительный перепад его карьеры – он стал адъютантом Самойлова, уже не армейского генерала, а генерал-прокурора.

Причем, по утверждению хорошо знающего военный быт историка Н. Ф. Дубровина, юный капитан артиллерии именовался не просто адъютантом, но флигель-адъютантом, что было тогда гораздо почетнее.

Не будем забывать, что в то же время правителем канцелярии генерал-прокурора был назначен отец Ермолова.

Отец и сын Ермоловы оказались прочно включены в служебно-родственную систему карьерных связей.

2

Один из наиболее важных для нас биографов Ермолова В. Ф. Ратч, подробно расспрашивавший Алексея Петровича в конце его жизни, свидетельствовал: «В должности, „хотя почетной, но бесцветной“, адъютанта Самойлова А. П. Ермолов был постоянным членом высшего петербургского общества того времени. <...> Как человек домашний у Самойлова, он по утрам слышал в его кругу откровенные отзывы об обществах и лицах, которые являлись на вечерних собраниях, он постоянно видел *la face et le revers de la medaille*»².

Но дело было не только в том немаловажном знании о конкретных лицах и взаимоотношениях в обществе, которое приобрел юный Ермолов, живя в доме генерал-прокурора.

В доме и служебном кабинете генерал-прокурора, ему доверявшего, умный и внимательный юноша мог наблюдать многосложное и далеко не безупречное движение государственного механизма, в центре которого стоял его покровитель.

По свидетельству Ратча, юный Ермолов, защищенный благоволением сильного вельможи, тогда уже позволял себе откровенно саркастическое отношение ко многим из тех, кого он видел вокруг. Разумеется, далеко не все, кого он встречал в доме Самойлова, были ничтожествами. Например, Александр Андреевич Безбородко, талантливый дипломат и умный бюрократ, который тоже покровительствовал Ермолову, человек, прошедший боевой путь рядом с Румянцевым, наверняка вызывал у нашего героя уважение и интерес. Но признаков развращенности и цинизма, которые мог подметить свежий взгляд наблюдательного провинциала, было вполне достаточно, чтобы заложить основы того отталкивания от господствующего способа существования и стремления выйти за пределы системы, которые позже определили особость судьбы нашего героя, воспитанного на Плутархе с его суровыми и самоотверженными античными героями.

Для молодого красавца офицера, любимца одного из влиятельнейших вельмож империи, Петербург того времени предоставлял массу возможностей веселой и приятной жизни. Близость к Самойлову и его клану вкупе с незаурядными способностями открывала путь к стремительной, но необременительной карьере.

Ермолов выбрал иной путь. Именно в этот период он окончательно сделал выбор в пользу военной службы. Не питавший особых иллюзий относительно армейской среды, с которой он познакомился в Молдавии, он выбрал войну как способ жизни, как средство самореализации, как путь к удовлетворению своего честолюбия.

Пройдет время, и это честолюбие примет иные, куда более неординарные формы. Не будем забывать, что в доме Самойлова процветал культ Потемкина с его необузданностью фантазии и гомерическими проектами.

² Лицевую и оборотную стороны медали (*фр.*).

Но пока юный капитан стремился стать подлинным военным профессионалом.

Он пожертвовал своим адъютантством и уговорил Самойлова зачислить его в артиллерию.

В 1827 году, составляя прошение об отставке, Алексей Петрович подробно перечислил все этапы своей службы.

Квартирмейстером в бомбардирский батальон он был зачислен по возвращении из Молдавии 18 марта 1792 года, а вернулся в батальон после периода адъютантства 26 марта 1793 года. При Самойлове – в гуще политической жизни – он состоял, стало быть, чуть более года.

9 октября того же 1793 года он был переведен в Артиллерийский и Инженерный корпус репетитором, младшим преподавателем.

Когда Ратч спросил Ермолова о причинах перевода в корпус на столь скромную должность, он ответил: «Для рассеивания тьмы неведения моего: в артиллерийском корпусе военный мог приобрести если не обширные, то основательные сведения».

И он был прав. Обучение в корпусе было поставлено основательно. Кроме общеобразовательных предметов, в частности математики, к которой Ермолов пристрастился еще в университетском пансионе – особенно геометрии, и иностранных языков, немалое внимание уделялось военным наукам. Углубленно изучались артиллерийское дело и фортификация.

Ермолов в корпусе, судя по всему, не столько учил, сколько учился.

Он делал из себя профессионала.

Польша. Первая кровь

1

6 апреля 1794 года в Варшаве произошло восстание и началась очередная польская война. А с ней – и новый период в жизни Ермолова. Это было то, чего он жаждал, о чем мечтал, к чему фанатически готовил себя. Впервые появилась возможность показать себе и миру – кто он таков, Алексей Ермолов.

При содействии графа Самойлова он получил право отправиться на театр военных действий волонтером, состоящим при графе Валериане Зубове, командовавшем авангардом корпуса генерала Дерфельдена.

Ермолову было 17 лет, и сущностный сюжет его жизни начинается именно в этот момент.

К 1794 году окружавшие Польшу мощные державы уже дважды делили ее территорию. В первый раз, в 1772 году, – Пруссия, Австрия и Россия; затем, в 1793-м, – Россия и Пруссия. Россия тогда получила большую часть белорусских земель, Подолье и Волынь, Пруссия – Данциг, земли Великой Польши, часть Мазовии...

И Польша снова восстала.

Главкомандующим был избран генерал Тадеуш Костюшко, воевавший в Америке в армии Вашингтона, опытный и умелый военачальник, снискавший похвалу Суворова.

Перед выступлением Костюшко побывал в Париже, пытаясь заручиться помощью Франции, но получил только неопределенные обещания.

Тем не менее 6 апреля 1794 года восстание началось.

Есть немало свидетельств о событиях в Варшаве, но мы снова воспользуемся текстом Ратча, так как он явно восходит к беседам с Ермоловым и дает представление о восприятии событий нашим героем: «Когда весть об избиении русских достигла до Петербурга, жажда мести сделалась общим чувством столицы; никто не спрашивал, какие последуют распоряжения, но множество офицеров поскакали хлопотать о назначении в Польшу. Ермолову нетрудно было достигнуть желаемого».

Понятно, что, разделяя общее настроение, Ермолов еще и подтверждал свой жизненный выбор – война как способ существования. К тому же не мог он – с его сильным и пытливым умом – не понимать, в событиях какого масштаба представляется ему возможным участвовать.

Корпус Дерфельдена воевал в Литве. Он был подчинен фельдмаршалу Репнину, который в этой кампании проявлял осторожность и медлительность. Между тем Суворов шел на Варшаву, чтобы закончить войну одним ударом. До этого почти полгода продолжались бои, не имевшие решающего значения. Поляки дрались храбро и умело.

С появлением Суворова на театре военных действий события стали развиваться стремительно.

Авангард Дерфельдена, которым командовал Зубов, постоянно вступал в бой с отступающими польскими отрядами.

Ермолов был при Зубове и, стало быть, получил возможность испытать себя в деле.

В этих боях отличился князь Петр Иванович Багратион. С ним Ермолов здесь и познакомился.

Ратч, со слов Ермолова, так описывал произошедшее: «Суворов шел на Варшаву и дал повеление Ферзену и Дерфельдену к нему присоединиться. Он все ломил перед собою,

начиная от Кобрин. Дерфельден торопился своим движением от Белостока. <...> Авангардом его командовал граф В. А. Зубов, человек решительный и смелый. Дерфельден поручил ему авангард потому, что знал, что быстрее его никто не очистит дорогу для соединения в назначенное время с Суворовым. <...> Поляки быстро отступали перед Зубовым, который шел по пятам. 13-го октября (на самом деле 15-го. – Я. Г.), перейдя Буг, неприятель стал разрушать мост у местечка Попково; наши казаки, шедшие впереди, были остановлены неприятельскою артиллериею, поставленною на том берегу. Зубов, посадив тотчас свою пехоту на обозных лошадей, прискакал к переправе; Ермолов был при нем и получил приказание под выстрелами неприятеля кинуться вперед и сбросить в воду работников, разрушавших мост. Ермолов кинулся за охотниками. Это было последнее приказание Зубова в эту кампанию: ему оторвало ногу ядром. Содействие к исполнению приказа Зубова было Алексею Петровичу новой рекомендацией перед прибывшим к месту переправы начальником отряда, генералом Дерфельденом. На другой день они присоединились к Суворову на поле, только что ознаменованном новою победою, при Кобылке. Передовой отряд казаков, при котором находилась масса волонтеров, состоявших при графе Зубове, в том числе и А. П. Ермолов, прибыл к месту сражения и был свидетелем окончательного расстройств третьей и последней неприятельской колонны».

После сражения при Кобылке Суворову были представлены волонтеры и Ермолов в том числе. Суворов Ермолова отметил – на него трудно было не обратить внимания.

2

Зубов был отправлен в Россию. Ермолову надо было менять свое положение. Статус волонтера давал некоторые преимущества – в частности, возможность знакомиться с действиями разных родов войск, выполняя отдельные поручения. Но ермоловская установка на полный военный профессионализм требовала другого. Он мечтал стать артиллеристом – и стал им.

После смотра при Кобылке, представленный Суворову и заслуживший благоволение Дерфельдена, Ермолов получил в свое командование шесть орудий.

Но и здесь все было не совсем обычно. Ратч пишет: «В собранной при Кобылке армии Суворова последовало для предстоящих военных действий против укреплений Варшавы новое распределение артиллерии по отрядам. Кроме полковых, здесь было еще 76 орудий; Ермолов с радостью принял предложение Дерфельдена получить отдельную команду. Из артиллеристов старший в армии был капитан Бегичев: „Я не помню ни о каком распоряжении, и едва ли артиллеристы сами не возвели его в звание начальника всей артиллерии“, – говорил Алексей Петрович.

Ермолову дали сперва 6 орудий пяти различных калибров; но так как все артиллеристы, готовясь к предстоящим, может быть, продолжительным действиям против укрепленного города, положили уравнивать калибры между командами, то Бегичев и сделал новое распоряжение. Судьба благоприятствовала Ермолову: на его долю достались снова шесть орудий: 4 единорога полукартаульные, которых все жаждали, и две пушки 12-фунтовые. „Не знаю, не покривил ли душою Бегичев, видя ко мне расположение Дерфельдена“».

Надо пояснить, что единорогом называлось усовершенствованное Петром Ивановичем Шуваловым орудие, удлиненная гаубица, пригодная как для настільной, так и для навесной стрельбы всеми видами тогдашних снарядов и бывшая до четырех километров. По причуде Шувалова на стволе орудия был изображен единорог. Благодаря своей универсальности единороги высоко ценились артиллеристами, и неудивительно, что их «все жаждали». Полукартаульный единорог был приспособлен к стрельбе полукартаульными, то есть полупудовыми бомбами.

Судя по тому, что Ермолов рассказывал Ратчу, он находился в Польском походе на особом положении: «Так как князь Платон Александрович Zubov весьма ладил с графом Самойловым, то и граф Валериан Александрович, приняв весьма благосклонно А. П. Ермолова, был с ним во время всего похода в самых приятельских сношениях и неоднократно в самых лестных выражениях отзывался об нем Дерфельдену; к тому же оба были молоды – Zubov было 23 года, Ермолову 18 – и оба жаждали военной славы; боевая жизнь еще более сближает людей, и она равно тешила их обоих. Во время похода Дерфельден неоднократно давал поручения Ермолову; всякий раз за хорошее исполнение изъявлял ему свое удовольствие и даже однажды приказал ему написать в Петербург, что он им чрезвычайно доволен. Хотя в числе волонтеров отряда находился граф Витгенштейн, впоследствии князь и фельдмаршал, но едва ли между ними Ермолов не стоял на первом плане; так по крайней мере можно заключить из отзыва, который Дерфельден сделал об Алексее Петровиче Суворову, упоминая о бывших при нем волонтерах».

Неопределенное «приказал ему написать в Петербург» имеет, надо полагать, вполне определенный адрес. Дерфельден хотел известить влиятельнейшего генерал-прокурора, что его подопечный оправдывает ожидания, а он, Дерфельден, не выпускает молодого капитана из поля зрения.

При этом надо помнить, что Вильгельм Христофорович Дерфельден не был каким-нибудь придворным льстецом. Это был боевой генерал, сражавшийся с Суворовым при Фокшанах и Рымнике, выигрывавший во вторую турецкую войну и самостоятельные сражения. Когда в 1799 году он прибыл в Италию к Суворову, сопровождая великого князя Константина Павловича, то Суворов не колеблясь поручил ему командование десяти тысячным корпусом – третью своей армии. Он сыграл важную роль в битве при Нови и был одной из главных опор Суворова в этом труднейшем походе.

Мы знаем о подвигах грузина Багратиона и серба Милорадовича во время перехода через Альпы, но никто не напоминает нам о немце Дерфельдене. Между тем Денис Давыдов, отнюдь не являвшийся, как и Ермолов, поклонником немцев в русской армии, желая оттенить достоинства Ермолова, писал: «Участвовав в войне 1794 года с поляками, он заслужил лестные отзывы славного генерала Дерфельдена, мнением которого он всегда очень дорожил». «Славного генерала Дерфельдена»...

Итак, молодой Ермолов в первой же своей кампании сумел отличиться и обратить на себя внимание. Те авангардные бои, в которых случалось принимать участие волонтеру, не шли ни в какое сравнение с тем, что ждало капитана, командовавшего шестью орудиями, под Варшавой.

Энгельгардт рассказывает: «22-го октября подошли мы к предместью Праге, укрепленному крепким ретраншементом, занятым 30 тыс. человек польского войска; но он был так обширен, что чтобы хорошо оный защитить, по крайней мере, надо было быть сильнее втрое. В ту же ночь заложено было несколько батарей и для прикрытия оных ложемент. 23-го канонировали ретраншемент, на что и нам отвечали, без большого вреда с обеих сторон.

Слабая сторона ретраншемента правого фланга была со стороны Вислы, для чего между сею рекою и болотом, поросшим мелким лесом, был отдельный крепко укрепленный ретраншемент, верстах в двух от главного...»

По рассказу Ермолова Ратчу можно определить положение его орудий на этом этапе боя: «В ночь на 23-е октября были заложены наши батареи вокруг ретраншемента, саженьях в 300 от него, что заставило неприятеля думать сперва, что русские собираются вести правильную осаду. Между тем русские отряды получили каждый свое назначение. Отряд Дерфельдена составлял правое крыло, а потому и артиллерии его, состоявшей из 22-х орудий, пришлось действовать против артиллерии и ретраншемента и фланговой батареи. На окончности этой батареи стали 6 орудий Ермолова, в расстоянии почти равном от ретранше-

мента и от фланговой полевой батареи. Орудия Ермолова составляли правый фланг в общем расположении русской артиллерии».

Фланговая полевая батарея – это тот второй ретраншемент (в данном случае – земляное укрепление, состоящее из вала и окопа), который прикрывал с фланга основные укрепления Праги. Орудия Ермолова, таким образом, оказались под огнем с двух направлений.

«В течение этого дня Ермолову пришлось переделать барабеты (насыпные площадки для установки орудий. – Я. Г.) за бруствером и переставить свои орудия, дабы получить возможность отвечать более фронтальными выстрелами на огонь фланговой батареи». То есть орудия Ермолова для более эффективной стрельбы были вынесены за бруствер и поставлены непосредственно перед батареей поляков. Это был первый случай, когда Ермолов решительно маневрировал орудиями, пренебрегая опасностью, но добиваясь максимальной результативности. Это был пример той отчаянности, которая впоследствии принесла Ермолову громкую славу и популярность в войсках.

Он сознавал, что добиться той высоты удачи, о которой он мечтал, можно только предлагая за нее самую высокую цену – свою жизнь и жизнь своих солдат.

«23-го числа артиллерия отряда Дерфельдена вела против нее (фланговой батареи. – Я. Г.) огонь более частый, и русские артиллеристы старались прицельною стрельбою вгонять свои гранаты в земляной бруствер батареи, который местами от разрывов их действительно стал разваливаться».

Штурм был назначен на раннее утро 24-го. Суворов издал предельно лапидарный приказ: «В ров, на вал, в штыки».

Ратч записал рассказ Ермолова:

«Перед рассветом 24-го октября войска двинулись к ретраншементу. Артиллерия отряда Дерфельдена открыла самую живую стрельбу против фланговой батареи, огонь которой был губелен для атакующих; он нанес бы войскам нашего правого фланга еще больший вред, если бы неприятель еще дольше держался на этой батарее; но как от осыпающегося бруствера начали обнажаться орудия, почему некоторые были подбиты, то польские артиллеристы и начали свозить их в город. Дерфельден почитал Ермолова главным виновником этого успеха. <...> Неприятель был уже выбит из своего лагеря и все пространство между ретраншементом и предместьем было очищено».

Ратч был артиллерийским генералом, писавшим историю гвардейской артиллерии, что было особенно симпатично Ермолову, и потому Алексей Петрович не только акцентировал свой рассказ на собственной артиллерийской практике, но, проникнувшись доверием к собеседнику и летописцу, демонстрировал редкую для него откровенность:

«В это время Суворов приказал ввезти 20 полевых орудий в Прагу, чтобы сбить артиллерию, выставленную в городе, на противоположном берегу. Сев на лошадь одного из казаков, Ермолов поскакал за своими орудиями. Неприятельские орудия были расставлены по два и по три совершенно открыто. Желали ли польские артиллеристы сохранить свои орудия для дальнейших действий или по другим причинам, но они выказали мало стойкости: после первого подбитого орудия все стоявшие от моста выше по течению скрылись в городских улицах; тогда Ермолов без всякого приказанья стал бить прямо в лоб по домам, смотревшим на Вислу; посыпались стекла из окон, едва ли одно уцелело; гранаты влетали внутрь домов. Самодовольно смотрел 18-летний Ермолов на эту картину разрушения, внутренне приговаривая: это вам за сицилийские вечера, и двадцать лет спустя он продолжил на несколько минут более, нежели следовало, действия артиллерии под Парижем, с не менее улаждавшей его мыслию: это вам, французы, за Москву».

В октябре 1794 года молодой Ермолов разрушал дома мирных жителей, причем гибли те, кто был внутри домов. Он шел на это. И не без удовольствия рассказывал об этом через добрых полстолетия.

Опыт польской войны, в особенности штурм Праги, отнюдь не ограничился для него чисто профессиональным опытом и удовлетворением мстительного чувства.

Один из участников обороны Праги, поляк Збышевский, оставил воспоминания, в которых сами боевые события выглядят не совсем так, как у русских мемуаристов:

«Печальное состояние Варшавы увеличивал вид несчастной Праги. Как только вышли из нее наши войска, разъяренный москвитянин начал ее грабить и жечь. Были вырезаны все без разбора. Даже в Варшаве были слышны вопли избиваемых и роковое московское ура.

Пожар начался от соляных магазинов, потом загорелось предместье у Бернардинов, наконец, запылал у моста летний дом Понинского.

Все это, вместе с воплями наших и яростью москалей, представляло ужаснейшую картину. <...> Были беспощадно умерщвлены, кроме тысяч других, мостовые комиссары: Уластовский, Концкий, Дроздовский и проч. Нашлись, однако, некоторые сострадательные московские офицеры, которые хотели защитить невинных жертв, но все их усилия не были в состоянии сладить с разнузданными солдатами, коим был позволен грабеж».

Трагедия Праги поразила Европу, несколько отвыкшую со времен Тридцатилетней войны от тотального избиения мирного населения.

Утверждения, что поляки и их европейские друзья преувеличили ужасы произошедшего, опровергаются самими русскими офицерами. Ермолов рассказывал Ратчу, что, когда умолкла фланговая батарея, он отправился посмотреть на действия войск: «здесь был он свидетель страшной резни при входе в улицы Праги».

Однако данные, записанные Ратчем со слов Ермолова, иногда нуждаются в корректировке.

Сохранился «Аттестат», данный генералом Дерфельденом капитану Ермолову по окончании Польской кампании и, скорее всего, по случаю отбытия его в Петербург:

«Находящийся при корпусе войск моей команды, Артиллерийского Кадетского корпуса артиллерии г-н капитан Ермолов, будучи прикомандирован к артиллерии авангардного корпуса, когда неприятель 15 октября, при деревне Поповке, против Кулигова у Буга, защищая мост, поставил свои пушки, то помянутый капитан Ермолов, приспев со своими орудиями и производя пальбу, сбил неприятельскую батарею. 23 числа с артиллерии господином капитаном и кавалером Бегичевым строил среди дня батарею под сильнейшею неприятельскою канонадою, по построении которой производил успешно пальбу; наконец, во время штурма, 24 числа октября, въехал при первой колонне с артиллериею и, командуя 7 орудиями, поражал неприятеля и по городу производил пальбу, во всех тех случаях поступая как храбрый, искусный и к службе усердный офицер. В засвидетельствование чего дан сей, за подписанием и с приложением герба моего печати, в Праге, ноября 5 дня 1794 года».

Стало быть, Ермолов не только способствовал штурму огнем своей батареи и не просто отправился затем посмотреть на действия войск, но вместе с атакующей колонной ввел свои орудия на улицы Праги и громил предместье.

С одной стороны, это усиливает его боевые заслуги, с другой – делает участником той страшной резни, о которой он вспоминал как наблюдатель.

Ратч, комментируя рассказы Ермолова, приводит свидетельства из дневника гусарского поручика, участника штурма: «Резерв вступил в дымящийся город, улицы были завалены мертвыми и умирающими; а возле варшавского моста какое ужасное зрелище! Тут все смешалось вместе: тут люди, лошади, обоз в одной куче; тут я видел женщин и детей раздавленных, обгорелых; ужаснейшая была резаница. <...> На берегу Вислы поставлены были батареи и громили польскую столицу 4 часа без остановки».

Жестокость эту, как и свой обстрел варшавской набережной, Ермолов не без оснований приписывал реакции на избиение русских в Варшаве в начале восстания: «Французские

писатели далеко утрировали кровавые сцены этой войны, но ни в одной войне мне не случилось видеть подобного ожесточения».

Дело было не только в этом. Суворов, несмотря на все своеобразие своего поведения, был человеком холодного и точного расчета. В своем рассказе Ратчу Ермолов объяснил причины, по которым Суворов допустил солдатские бесчинства: «Суворов, овладев Прагою, приказал сжечь мост, дабы неприятель не покусился для защиты самого города с свежими войсками идти на выручку Праги. Начались переговоры с противоположным берегом. Суворов приказал вместо разрушенного моста построить другой, узенький, по которому можно было проходить пешком. Жителям Варшавы было дозволено приходить в Прагу, отыскивать своих родных и близких в грудах убитых; Суворов не ошибся в своем расчете. Ужасное зрелище, которое представляла Прага, могло у всякого отбить охоту подвергнуть Варшаву той же участи. Варшава сдалась беспрекословно на все условия, предписанные Суворовым».

Позволив солдатам разгромить и вырезать Прагу, Суворов этим варварским способом предотвратил необходимость штурма Варшавы и куда большие жертвы, которые могли бы этому сопутствовать.

К населению Варшавы, к сдавшимся польским военным, к самому королю Суворов отнесся вполне гуманно, объявив всем прощение от имени императрицы.

Ермолов не раз будет применять этот жестоко эффективный прием на Кавказе – демонстративно уничтожать аул вместе с населением, подавляя тем самым волю к сопротивлению у других аулов и, соответственно, сберегая солдат.

На польской войне он получил совершенно особый опыт.

Поляки были родственным славянским народом. Они, в отличие от турок, не воспринимались как законный противник. Они были мятежниками, хотя имели своего короля и свое государство. Война с ними была домашним спором, едва ли не гражданской войной. А такие войны ведутся по собственным правилам.

В 1814 году генерал Ермолов мог выпустить несколько лишних гранат по парижским предместьям, но ему не пришло бы в голову уничтожить для примера какой-нибудь французский городок.

На Кавказе он вел тоже подобие гражданской войны, усмирять мятеж, наказывал непокорных подданных, неразумных детей великой империи – для их же пользы. А отеческое наказание не регулируется никакими законами.

3

Польское государство с его тысячелетней бурной и великой историей перестало существовать.

Король Станислав II Август, доставленный в Гродно, отрекся от власти.

После долгих переговоров Россия, Пруссия и Австрия заключили соглашение об окончательном разделе оставшихся польских земель и обязались забыть словосочетание «Королевство Польское» или «Речь Посполитая».

Что до Ермолова, то своим первым боевым опытом он мог быть вполне доволен. Ратч пишет: «После жаркой битвы войска заликовали. Суворов обходил полки и приговаривал: „Помилуй Бог, после победы пропить день ничего!“ Он поинтересовался узнать, кто были некоторые из действовавших артиллеристов. Дерфельден назвал Ермолова как первого, который заставил неприятеля увезти орудия, начал бомбардировать город. В тот же день А. П. Ермолов с георгиевским крестом на груди пришел благодарить свою команду и выпить за их здоровье чарку некупленного вина».

1 января 1795 года Екатерина II подписала указ: «Во Всемилоостивейшем уважении за усердную службу артиллерии капитанов Христофора Саковича, Дмитрия Кудрявцева и

Алексея Ермолова и отличное мужество, оказанное ими 24-го октября при взятии приступом сильного укрепления варшавского предместья, именуемого Прага, где они, действуя вверенными им орудиями с особливою исправностью, наносили неприятелю жестокое поражение и тем способствовали одержанию победы, причем артиллерии капитан Сакович получил рану, – пожаловали Мы их кавалерами военного Нашего ордена св. великомученика и победоносца Георгия 4 класса».

Тем же 1 января датирован и рескрипт «Нашему артиллерии капитану Ермолову»: «Усердная служба ваша и отличное мужество, оказанное вами 24 октября при взятии штурмом сильно укрепленного Варшавского предместья, именуемого Прага, где вы, действуя вверенными вам орудиями с особливою исправностью, нанесли неприятелю жестокое поражение и тем способствовали одержанной победе, учиняют вас достойным военного Нашего ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия».

Судя по тому, что указ и рескрипт были подписаны через два с лишним месяца после битвы, а Ермолов получил орден, если верить его рассказу, в день взятия Варшавы, то, очевидно, и в самом деле орден вручен был лично Суворовым...

Высокая оценка Дерфельдена, дружеское благожелательство такой «сильной персоны», как Валериан Зубов, Георгиевский крест, полученный из рук Суворова, наконец, решительное и умелое командование батареями – все это должно было воодушевить Ермолова и окончательно убедить в правильности выбранной карьеры. С этим чувством он и возвращался в Петербург.

Осознавал ли он, что при его содействии изменилась карта Европы, что произошло событие куда более значимое, чем очередная победа над турками? Событие, эхо которого будет катиться на запад и на восток от Варшавы не одно столетие?

Вряд ли он предвидел все роковые последствия крушения Польши, но он был слишком умен и осведомлен, чтобы не понимать смысла происшедшего.

При его самоотверженном участии были далеко раздвинуты границы империи. И это не могло не повлиять на его самоощущение. Уже тогда, по свидетельству знавших его, Ермолов был высокочестолубив. Он еще только не знал – какую пищу его честолубию предложит судьба.

Во всяком случае, в Петербург вернулся отнюдь не тот молодой, жаждущий боевых впечатлений артиллерийский капитан, который отправлялся волонтером в Польшу.

Италия. Расширение горизонта

1

Империя на подъеме.

Ее убежденный солдат предвкушает и свой грядущий взлет.

Следующий резкий поворот его карьеры произошел благодаря все тому же графу Самойлову. Ермолов рассказывал Ратчу, что Самойлов при встрече в Петербурге – а визит к генерал-прокурору наверняка был первым столичным визитом – не советовал ему возвращаться в Артиллерийский кадетский корпус. Отличившемуся офицеру и георгиевскому кавалеру следовало подобрать иное занятие. Годы простого обучения остались позади. Теперь надо было осваивать другие науки.

9 января 1795 года капитан Ермолов был переведен во 2-й бомбардирский батальон – то есть в строевую часть. Перевод этот имел особый смысл.

Судя по рассказу Алексея Петровича, именно Самойлов «предложил ему ехать в чужие край». Это был испытанный способ расширить умственный горизонт, получить принципиально новые впечатления, способствовавшие развитию личности. Самойлов верно оценил потенциальные возможности своего подопечного.

Для командирования «в чужие край» нужен был повод. Его быстро нашли.

Турецкие войны требовали огромных затрат. Внутренних средств катастрофически не хватало. Екатерина II и ее правительство охотно и широко прибегали к внешним займам. В частности, с 1788 года Россия в три приема заняла в Генуэзском банке 5 миллионов 600 тысяч гульденов – весьма внушительную сумму – на десять лет под пять процентов годовых. К моменту вступления Самойлова в должность государственного казначея внешний долг голландским и генуэзским банкирам из-за несвоевременных платежей вырос до угрожающих размеров. Расходы бюджета значительно перекрывали доходы. (К концу царствования Екатерины II внешний долг достиг 76 миллионов гульденов, из которых только 14 миллионов были погашены.)

Самойлов разработал план погашения долгов. Но вмешались непредвиденные обстоятельства: французская армия вторглась в Голландию. Главный кредитор банкир Гоппе, владелец крупнейшего в Европе банка, бежал в Англию и отказался от предоставления России новых кредитов. Это произошло в феврале 1795 года. Вот тогда-то, судя по всему, и возникла необходимость провести личные переговоры с генуэзским банкиром Реньи, что и было поручено Самойловым доверенному чиновнику Вюрсту.

Отправить молодого офицера сопровождать столь ответственное лицо было делом естественным.

Граф Александр Андреевич Безбородко, фактический руководитель иностранных дел империи, разделявший с Самойловым управление государственными финансами, тоже, как мы знаем, был симпатизаном Ермолова.

Вместе они и благословили своего подопечного на путешествие в компании с Вюрстом. Очевидно, и здесь Ермолов был в качестве волонтера, ибо никаких определенных обязанностей он не нес. В финансовых делах он был вполне бесполезен.

Идея была другая.

Безбородко снабдил Ермолова письмом к первому министру австрийского императора барону Тугуту. В письме содержалась просьба позволить молодому русскому офицеру принять участие в составе австрийских войск в войне с французами, которая шла в Италии.

Ермолова отправили в Италию как военного агента, который должен был изнутри оценить состояние австрийской армии.

Конечно же, он должен был с восторгом принять это назначение.

Ермолов рассказывал Ратчу, что, пока австрийские высшие власти в Вене раздумывали над просьбой Безбородко, он успел всласть попутешествовать по Италии.

В конце концов он был направлен, опять-таки в качестве волонтера, в армию генерала Дэвиса.

Денис Давыдов, разумеется со слов Ермолова, писал: «Будучи послан в Италию вместе с чиновником Вюрстом, коему было поручено окончить коммерческие дела с генуэзским банком, он посетил главнейшие пункты Италии и между прочим Неаполь, где видел знаменитую по своей красоте леди Гамильтон; впоследствии ходатайства графов Самойлова и Безбородко, снабдивших его письмом к всесильному барону Тугуту, Алексей Петрович был назначен состоять при австрийском главнокомандующем Дэвисе, питавшем к русским величайшее уважение после сражения при Рымнике, в коем он участвовал. <...> Он с австрийцами принимал участие в разных стычках против французов».

Любопытно, что Ермолова причислили к «кroatским войскам» – иррегулярной легкой кавалерии, вербовавшейся из хорватов. Наверняка это было его собственное желание. Он, таким образом, во-первых, пользовался достаточной свободой, а во-вторых, оказался в составе наиболее мобильных и активно действующих отрядов, постоянно соприкасавшихся с противником, так как их использовали для разведки боем и внезапных налетов. Он хотел воевать.

Сведений об этом периоде жизни Ермолова крайне мало, но надо полагать, что свои функции военного агента он выполнил добросовестно. Его статус волонтера не привязывал его накрепко к какой-то одной части, и он смог познакомиться с особенностями австрийской армии достаточно широко. То, что он рассказывал Ратчу, похоже на лаконичный вариант донесения: «Ермолов нашел австрийские войска прекрасно устроенными, обученными и снабженными, войска с военным духом; но вместе с тем пропитанные тем методизмом, от которого австрийцы понесли столько поражений. Если не с молоком матери, то с насущным хлебом они всасывали это ежедневно, с самого начала вступления в службу, и не могли уже от него отделаться никакими силами. При этом только условия могло усилиться так могущество венского гофкригсрата».

Гофкригсрат – совет при императоре, имевший фактически неограниченное влияние на действия полевых армий, связывал руки боевым генералам и катастрофически затруднял ведение военных действий.

В сознании Ермолова кровопролитные схватки в горах Италии естественным образом связывались с его кавказским периодом. То, что он видел и испытал в рядах кроатских отрядов, было первым опытом горной войны.

С поразительной восприимчивостью молодой Ермолов удерживал в памяти все, что могло пригодиться ему в построении своего будущего.

2

Во всех его действиях с того момента, когда он пренебрег адъютантством у одного из первых лиц империи и, соответственно, стремительной столичной карьерой, просматривается твердая целеустремленность. Создается впечатление, что Ермолов уже поставил перед собой некую цель и только тщательно выбирал наиболее эффективные средства для достижения ее.

Он сознавал шаткость своего положения, понимал, чему обязан своей карьерой и что, изменись ситуация – потеряй влияние Самойлов и другие потемкинцы, – ему, бедному про-

винциальному дворянину, придется рассчитывать только на собственные способности и заслуги. При этом он верил в свое из ряда вон выходящее будущее и яростно накапливал необходимый опыт.

Нет точных данных, сколько времени пробыл Ермолов в армии Дэвиса и вообще за границей. Можно предположить по косвенным сведениям, что он отправился в Италию весной 1795 года и вернулся в Россию зимой следующего года.

Ратчу Алексей Петрович объяснил свой отъезд из Италии тем, что до него дошли вести о близком разрыве с Персией и предстоящей войне. А ему не терпелось использовать приобретенные навыки в войне за Россию.

Екатерина II и в самом деле готовила поход в прикаспийские области, подвластные персидскому шаху. Непосредственным поводом для войны стало вторжение шаха Ага-Магомета в Грузию весной 1795 года. Ее истинными причинами являлись естественные симпатии России к единоверному православному народу, а также – геополитическое значение грузинской территории.

В исследовании О. Елисеевой «Геополитические проекты Г. А. Потемкина» сказано: «В кругу заметных внешнеполитических проектов конца екатерининской эпохи следует назвать „Персидский проект“ последнего фаворита императрицы П. А. Зубова, поданный им государыне в 1796 г. во время войны с Персией из-за нападения на Грузию Астерабадского хана. Успешные действия русских войск, которыми руководил брат временщика В. А. Зубов, взятие Дербента и Баку, позволили Российской империи расширить территориальные приобретения в Закавказье и получить, как предлагал Зубов, господство над западным побережьем Каспийского моря. Смерть императрицы положила конец военным операциям, однако сама идея продвижения империи в Закавказье имела большое будущее и постепенно осуществлялась при внуке Екатерины II – Александре I в течение первой четверти XIX века».

Именно этот процесс прорыва в Закавказье, чему неизбежно сопутствовало завоевание Кавказа, впоследствии и выдвинул Ермолова в первые ряды палладинов империи.

Известный историк Кавказской войны генерал Василий Александрович Потто писал: «Говорят <...> что поход этот находился в тесной связи со знаменитым греческим проектом, обновленным редакцией графа Платона Зубова. Проект заключался в том, что граф Валериан Александрович, покончив с Персией у себя в тылу, должен был захватить в свои руки Анатолию и угрожать Константинополю с малоазиатских берегов, в то время как Суворов пройдет через Балканы в Адрианополь, а сама Екатерина, находясь лично на флоте с Платоном Зубовым, осадит турецкую столицу с моря».

Документальных подтверждений этого слуха нет, но он вполне соответствует размаху мечтаний позднего периода Екатерины II.

3

Результатом возродившегося интереса к персидским делам (хотя игра была сложнее, в нее входили и тяжелые отношения с Турцией) было заключение союзного договора между Россией и Грузией 24 июля 1783 года в крепости Георгиевск, вошедшего в историю как Георгиевский трактат.

По договору Грузия поступала под покровительство – протекторат – Российской империи.

Георгиевский трактат вызвал резкое озлобление Персии с Турцией, равно как и граничащих с Грузией мусульманских ханств. В 1785 году аварский владетель Омар-хан с двадцатью тысячами дагестанских воинов обрушился на Кахетию и вынудил Ираклия II откупаться от него. Сколько-нибудь эффективно помочь Грузии Россия тогда не сумела.

Но самым страшным ударом для Грузии было нашествие Ага-Магомет-хана в 1795 году, ставшего к этому времени шахом и укрепившего власть над всей Персией.

В Петербурге поняли, что могут навсегда потерять Грузию и контроль над Закавказьем и прикаспийскими землями.

Можно с достаточным основанием предположить, что Ермолов был осведомлен о замыслах светлейшего: в период своего адъютантства у Самойлова, будучи «домашним человеком» у генерал-прокурора, который с Безбородко тесно сотрудничал, он мог многое слышать и наблюдать.

Равно как при своем интересе к военной истории – отечественной в первую очередь – Алексей Петрович вряд ли прошел мимо истории Персидского похода Петра I.

Он возвратился из Италии не просто с желанием воевать, но с мечтой воевать именно с Персией, на Каспии, там, где могли сбыться мечты почитаемых им Петра Великого и светлейшего князя Потемкина.

Здесь мы снова обратимся к записям Ратча:

«В Петербурге, в артиллерийском мире А. П. Ермолов нашел диковинку, занимавшую всех артиллеристов: конноартиллерийские роты, о которых уже несколько лет ходили толки, были сформированы; но не одни артиллеристы интересовались конною артиллериею – она возбудила внимание всей столицы. Генерал-фельдцейхмейстер князь Платон Александрович Зубов показывал ее как плоды своих забот о русской артиллерии. Мелиссино тоже, со своей стороны, хлопотал об ней и долго придумывал для нее мундир. А. В. Казадаев был представлен императрице на апробацию новой конноартиллерийской формы, в шляпе с белым плюмажем, в красном мундире с черными бархатными отворотами, в желтых рейтузах и маленьких сапожках со шпорами».

Этот текст требует некоторых комментариев.

Во-первых, Казадаев – это был один из ближайших друзей всей жизни Ермолова, переписка Алексея Петровича с которым представляет большой интерес. Они сдружились в Артиллерийском кадетском корпусе.

Во-вторых, и это главное, надо понять, в чем была новизна этого типа артиллерийских формирований. Сама по себе конная артиллерия возникла во Франции еще в XVI веке. В русской армии ее культивировал Петр I. Она отличалась от пешей артиллерии, где орудия тоже тащили лошади, тем, что орудийная прислуга ехала верхом, а не шла рядом с пушками или сидела на передках, увеличивая вес орудий. Это делало конную артиллерию стремительной и маневренной.

Здесь ключевое слово – *роты*. Речь идет не о новом роде войск, а о новом принципе их организации.

Идея действительно принадлежала Зубову. Еще в сентябре 1794 года он испросил разрешение императрицы на формирование пяти конноартиллерийских рот. Реально эти роты появились в феврале 1796 года, что и дает возможность датировать возвращение Ермолова из Италии. Если к его возвращению конноартиллерийские роты уже существовали, то Ермолов вернулся не ранее февраля 1796 года.

В конноартиллерийские роты, любимое детище и предмет гордости Платона Зубова, назначались, как рассказал Ермолов Ратчу, «офицеры, которые приобрели военную репутацию, георгиевские кавалеры, люди с протекцией и красавцы». Ермолов отвечал всем этим признакам. Но к моменту его возвращения роты были укомплектованы.

Вряд ли, однако, его это огорчало. Он хотел воевать, а конноартиллерийские роты, дислоцированные в Петербурге и вокруг, явно не предназначались для переброски на каспийские берега. В поход должны были идти главным образом войска, стоявшие на Кавказской линии и поблизости от нее.

Из Петербурга же на войну можно было попасть привычным для Ермолова способом – в качестве волонтера, лица привилегированного.

Персидский поход. Голос судьбы

1

Ситуацию с началом войны энергично и выразительно очертил князь Зураб Авалов: «На самом закате дней и царствования Екатерины Великой правительство русское снова вернулось к мысли осуществить грандиозный план Потемкина относительно Персии. Вторжение Ага-Магомет-хана в Грузию давало России законное основание вступить в персидские пределы. С самого начала 1796 года на Линии стали готовиться по петербургскому указу к походу.

Душой дела были братья Зубовы; главное командование экспедицией поручалось графу Валериану Александровичу, и в рескрипте, данном ему 19 февраля, изложена целая политическая программа, идущая путем планов Петра и замыслов Потемкина. Опять загорается надежда на „богатый торг“ при берегах Каспийского моря и внутри Персии; опять взоры видят вдали Индию и ее богатства»³.

Рескрипт Валериану Зубову заканчивался решением «восстать силою оружия на Ага-Магомет-хана ради отвращения многих неудобств и самих опасностей от распространения до пределов наших и утверждения мучительской власти и вящего усиления, а паче при берегах Каспийского моря, и так уже преуспевшего соединить мощное владычество почти над всею Персиею коварного Ага-Магометхана, всегда являвшегося врагом империи нашей».

Ага-Магомет-хан обвинялся в «наглom нарушении трактатов наших с Персиею поставленных, в коих права и преимущества, Россиею присвоенные, приобретены были уступкою областей, завоеванных оружием Петра Великого».

Последним аккордом было заявление о помощи царю Ираклию и другим закавказским владетелям, «взывающим защиту и покровительство наше».

Было сделано все, чтобы придать действиям России максимально законный и благородный вид. И это вполне удалось, поскольку Ага-Магомет-хан и в самом деле был наглым хищником по отношению к соседям и мучителем по отношению к собственным подданным. (Которые в конце концов его и зарезали.)

Принять участие в войне, которая могла увенчать планы Петра I и Потемкина и дать России выход на азиатские просторы, было для молодого Ермолова более чем заманчиво. Это было не просто очередное испытание своих боевых достоинств, но война за великую имперскую идею, далеко превосходившую по своему масштабу все, в чем ему приходилось участвовать.

К концу жизни Ермолов стал уникальным знатоком мировой военной истории, но и к 1796 году его сведения в этой области были достаточны, чтобы сопоставить будущий поход с деяниями Античности, с походами Александра Македонского в частности. При его стремительно развивавшемся честолюбии подобные сопоставления были прорывом в иные сферы представлений.

Можно с уверенностью сказать, что и в свои 19 лет капитан Ермолов отнюдь не был просто честолюбивым и удачливым офицером.

Он уже тогда был военным человеком по преимуществу и при этом – с идеологией.

³ Авалов З. Присоединение Грузии к России. СПб., 2009. С. 95.

2

Вторжение Ага-Магомет-хана не было формальным поводом для войны – это была катастрофа, разразившаяся на южных границах и угрожавшая всему, чего Россия добилась на Каспии со времен Петра I.

Русскому правительству было понятно, что после своих кровавых подвигов вдохновленный слабым сопротивлением шах выполнит обещания и весной вернется в Грузию и прикаспийские области – расширять владения и устанавливать свою власть над каспийским побережьем.

Это грозило не только потерей контроля над огромными территориями, но и страшным ущербом престижу империи. Слабость в отношении Персии могла пагубно сказаться на поведении кавказских горцев и независимых доселе ханств.

Было решено предупредить новое вторжение персов.

Ермолов по-прежнему был близок к Зубову и, скорее всего, имел достаточное представление о планах и задачах похода.

Получить назначение в войска, предназначенные для Персидского похода, не составило труда: граф Зубов был командующим, а граф Самойлов – одним из организаторов похода.

В начале апреля Ермолов был в Кизляре.

П. Г. Бутков в своих «Материалах для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.» приводит полные данные о внушительном составе корпуса Зубова.

Общая численность войск, не считая экипажей кораблей поддержки, простиралась до 30 тысяч человек.

Корпусу был придан сильный артиллерийский парк, состоявший из полевой артиллерии с двойным числом зарядов – двухпудовая мортира, 13 полукартаульных единорогов, 6 двенадцатифунтовых и 19 шестифунтовых пушек. В полковой артиллерии насчитывалось до 60 орудий. И наконец, 12 орудий, погруженных на корабли контр-адмирала Федотова, предназначались для десанта.

Ермолов вспоминал, что в драгунских полках артиллерийские парки были реформированы по системе Раевского: орудия были по возможности облегчены и поставлены на железные оси.

Артиллерийские подразделения вне полков формировались по тому же вполне произвольному принципу, что и в Польскую кампанию. Ермолов получил два единорога полукартаульных, три пушки шестифунтовые и одну двенадцатифунтовую⁴.

Это было странное сочетание: двенадцатифунтовая пушка весила около ста пудов, а полупудовый единорог – сорок. Маневрировать одновременно орудиями столь разного веса было крайне затруднительно. Ермолов вспоминал саркастическое замечание генерал-инспектора русской артиллерии Петра Ивановича Меллера-Закомельского, что соединять двенадцатифунтовую пушку с полупудовым единорогом – все равно что вола и жеребца впрягать в одну упряжку.

Однако он надеялся отличиться и с этим составом.

26 марта Валериан Зубов через Астрахань прибыл в Кизляр, где, как пишет Бутков, «от его высокопревосходительства генерал-аншефа и кавалера Ивана Васильевича Гудовича принял в команду войска, назначенные в поход в Персию».

Пятидесятипятилетний Гудович, заслуженный боевой генерал, рассчитывавший сам возглавить экспедиционный корпус, назначение 25-летнего неопытного Зубова воспринял

⁴ Читатель, конечно же, понимает, что речь идет о весе зарядов, а не самих орудий.

как тяжкое оскорбление. В автобиографической «Записке» Гудович писал: «Отправил я генерал-поручика графа Зубова в апреле месяце с войсками к Дербенту, который еще не был взят, дав ему мое наставление, 1000 верблюдов и 1000 волов для доставления за ним провианта. По отправлению сей экспедиции, будучи в Кизляре, получил я жестокую болезнь...» Это была дипломатическая болезнь. Вскоре Гудович подал прошение об отставке и получил ее. (Он мгновенно выздоровел, как только умерла Екатерина II, а Зубов оказался в отставке.)

В этой щекотливой ситуации – корни жестокого конфликта, к которому позже имел отношение и Ермолов.

Старший друг Ермолова полковник Николай Николаевич Раевский был заметной фигурой похода.

Экспедиционный корпус разделен был на четыре бригады. Ермолов со своими шестью орудиями назначен был в бригаду генерал-майора Сергея Алексеевича Булгакова.

Варвара Ивановна Бакунина, сопровождавшая своего мужа, полковника, и оставившая интересные записки о походе, охарактеризовала Булгакова не очень лестно: «Булгаков, состарившийся в военной службе, но знающий ее рутинно, человек ограниченный, мало образованный, но довольно добрый малый».

Не будем полностью доверять суждению Варвары Ивановны в области военного дела. Она судила генерала Булгакова скорее с точки зрения, так сказать, светской.

Под «рутинным знанием» Варвара Ивановна, очевидно, подразумевала практический опыт генерала, не блещущего общей образованностью. Но это «рутинное знание» Булгакова было драгоценно в конкретной ситуации Персидского похода, ибо он обладал к тому времени большим и уникальным опытом горной войны.

Был у него и опыт штурма крепостей. Когда в июне 1791 года Гудович осаждал сильную турецкую крепость Анапу на побережье Черного моря, колонна генерал-майора Булгакова сыграла решающую роль во время штурма. Булгаков взял в плен великого мятежника – первого имама Чечни шейха Мансура, в середине 1780-х поднявшего горцев против русских под объединяющими религиозными лозунгами. Мансур умер в Шлиссельбурге, а Булгаков за Анапу получил орден Святого Георгия 3-й степени.

После Персидского похода он много, успешно и жестоко воевал с горцами и дослужился до чина генерала от инфантерии.

Ермолову, безусловно, повезло, что он оказался в бригаде Булгакова, ибо именно на долю булгаковских войск выпала головоломная задача, требовавшая именно умения действовать в горах.

Бутков рассказывает: «Главкомандующий имел известие, что Шейх-Али-хан дербентский положил сопротивляться до самой крайности и на сей конец собрал в Дербенте более 10 т. воинов, в числе коих находились многие из горских народов, да еще ожидает знатных подкреплений из Кубы и от ханов бакийского, казикумыкского и прочих дагестанских владельцев. Для разорвания сей вредной для нас связи следовало учинить решительное предприятие, а именно обойти крепость дербентскую чрез горы Кавказские в Табассаране, землями благонамеренного кадия табассаранского.

Возможности сего пути, хотя и с великими трудностями сопряженного, изведаны и испытаны предварительно капитаном Симановичем в виде лекаря, по согласию кадия табассаранского, который за сию услугу получил от генерал-майора Савельева значительный подарок».

Участвуя в маневре Булгакова, капитан Ермолов получил не только особый боевой опыт, но и представление о взаимоотношениях с горскими владельцами.

«Главкомандующий назначил отряд войск, который бы пройдя чрез Табассаран, явился под южными стенами Дербента, в одно и то же время как главные силы Каспийского

корпуса приблизятся к северным, и сим занятием пресек бы всякое сообщение Дербента с южной оного стороны.

Сей отряд вверен был генерал-майору Булгакову и составлен из 21/2 батальонов гренадер, 2 батальонов егерей, 14 эскадронов драгун, 625 линейных казаков и 6 орудий полевой артиллерии».

Эти шесть орудий и были батареей Ермолова. У гренадер и драгун были свои пушки.

Используя данные «Материалов» и «Записки» Буткова, «Исторического известия о походе российских войск в 1796 году...» Раджицкого в сочетании с рассказами Ермолова Ратчу, мы можем достаточно подробно воссоздать картину этого первого кавказского похода Ермолова.

В «Материалах» Бутков сообщает: «Ему (отряду Булгакова. – Я. Г.) предлежало пройти более 84 верст, в том числе более 20 верст самыми трудными дефилями, и явиться под Дербент 2 мая.

Земля табассаранская лежит по хребту, вышедшему от высочайшей снеговой горы Кохма, возвышающейся в северном Дагестане, на станом хребте Кавказа, и дающей исток реке Койсу. Тот хребет проходит от запада к востоку, и там, где табассаранская земля оканчивается утесистыми крутизнами, близ берегов Каспийского моря, стоит Дербент. <...> Верхняя возвышенность табассаранского хребта, называемого от жителей Бент, покрыта дремучим лесом, с обеих сторон, в покатосях своих чрезвычайно крута и имеет множество каменистых, утесистых стремнин; и сие самое образует страшные дефили, прикрывающие проходы к верхним жилищам табассаранцев и запирающие по положению Дербента сообщение северного Дагестана с южным и Ширваном».

Дефили (дефиле) – узкий горный проход, теснина. В горной войне дефиле часто становились местом засад, ловушками для наступающих войск. Возможно, знакомство с подобной местностью произошло у Ермолова еще в Италии, но настоящую горную войну он увидел именно в апреле – мае 1796 года в отряде генерала Булгакова.

К удовольствию историка, Бутков оказался в том же отряде и явился не только собирателем материалов, но и участником событий. В «Записке» он рисует живую и полную выразительных деталей картину похода булгаковского отряда через горы Табасарана: «4-го мая отряд выступил далее через Дарбах. Крутизна горы, чрез которую следовать должно было более 3 верст, затруднила переправу всех обозов, так что в пособие к каждой тройке лошадей припряжено было еще 3 и человека по 4; но и тут с чрезвычайною трудностью едва могли подняться. Сие все сносно было до половины сего дня, до которого времени только успели подняться оба казачьих полка и 3-й егерский батальон с своими обозами. А потом начал лить сильный дождь и непрерывно, во всю ночь до утра продолжался. Дорога и без того затруднительная, чащею леса по обеим сторонам, так, что только могли проходить повозки, совсем испортилась, стала грязною и скользкою, до того, что обозы Астраханского драгунского полка переправлялись 10 часов. За Астраханским полком следовал Таганрогский драгунский полк, и следовали оба с передовыми войсками на лагерь, бывший от переправы в 3 верстах, и тут на ночь расположились. Во всю ночь, с великим трудом, при пособии 500 рабочих и 150 казачьих лошадей переправлялись 6 орудий с принадлежностями главной артиллерии».

Это были орудия Ермолова. Если вспомнить, что вес орудий составлял от сорока до сотни пудов, то легко представить себе неимоверные трудности этого горного перехода. «200 человек в пособие 6 лошадям едва могли сдвигать с места 12-фунтовый единокор».

В «Историческом известии» подполковника Раджицкого, основанном на не дошедшем до нас источнике (с «Запиской» Буткова у Раджицкого есть существенные расхождения), тоже фигурируют шесть орудий Ермолова и трудности перехода. Но есть у него и некоторые живые детали, позволяющие еще яснее оценить обстановку:

«Во всю ночь шел дождь. Нагорные жители партиями бродили повсеместно, удивляясь многолюдству и трудам наших солдат; особенно занимали и ужасали их пушки. Оставшиеся обозы и артиллерия уже к рассвету следующего дня при помощи казаков и почти всей пехоты вышли из ущелья. <...> Отряд вышел с гор на плоскость к небольшой речке; от сильного дождя в продолжение ночи вода выступила из берегов и потопила лагерь так, что везде оной было по колено. Поутру на другой день шесть казачьих лошадей от изнурения и голода поели какой-то ядовитой травы и оттого вскоре пали в ужасных судорогах».

3

Русские тяжело осваивали новый для них театр военных действий.

Ермолову сразу же пришлось познакомиться с явлением, с которым постоянно сталкивался он впоследствии, во время командования своего на Кавказе, и которое как теперь, так и тогда оказалось столь типичным, сколь и трудноразрешимым.

Радожичский: «По приказанию генерала Булгакова с отряда южной стороны от всех полков должны были выехать обозы навстречу транспорту, шедшему с провиантом под прикрытием Гренадерского батальона. Первый обоз выступил Кавказского гренадерского полка и только отошел от лагеря верст 10, как был атакован партией горцев, подвластных Хамутая, хану Казикумыцкому. Они разграбили 4 повозки, от которых увели 9 солдат и 9 лошадей да убили двух человек. Семейного войска пикет, усмотрев бегущих солдат от обоза, дал знать в отряд генерала Булгакова; по сему известию послан был Хоперский казачий полк для преследования разбойников, потом выступили и прочие легкие полки конницы под командою генерала Булгакова, который, узнав, что партия хищников скрылась в горах, возвратился в лагерь. Хоперский полк гнался за разбойниками около 25 верст. <...> Не догнав разбойников, Хоперский полк возвратился в лагерь».

«Записка» Буткова: «8 числа подданные Хамутая казикумыцкого напали на 12 повозок Кавказского гренадерского полка, оторвавшихся версты на две вперед от всех отрядных повозок, посланных назад верст за 18 к секунд-майору Неелову, препровождающему через табассаранский дефилей провиантский транспорт на арбах. <...> Неприятель, который был числом до 300, разделенных на две партии, обрезаю у повозок лошадей и 6 гренадер и 6 извозчиков взял в полон, из которых два гренадера, защищавшиеся саблями, зверски изранены».

Это была стандартная ситуация, с которой Ермолову придется многократно сталкиваться в будущем, но пока и для него, и для русского командования вообще это была новая и трудноразрешимая задача.

Это была именно та ситуация, о которой предупреждала императрица в своем наставлении Зубову, предлагая пренебрегать неважными «дерзостями» горцев. Но трудно было решить – какая дерзость важная, а какая неважная. Пленные солдаты, увиденные в рабство, были брошены на произвол судьбы. С этим тяжело было смириться.

Ермолов еще недавно был свидетелем «резни» во время штурма Праги, когда гибло мирное население.

Здесь, на Кавказе, происходило нечто подобное, но в иных формах. Русское командование пока еще ориентировалось на требование Екатерины. Очевидно, в Петербурге основательно готовились к новому Персидскому походу и учитывали опыт похода 1722 года, когда раздраженные горцы истребили значительный отряд драгун бригадира Ветерани, а жестокие двухгодичные карательные экспедиции с участием регулярных войск, казаков и калмыков желаемого результата не принесли.

Пока что провинившихся горцев подвергали телесному наказанию. «Кади вызывал каждого преступника по имени, объявлял ему заслуженный штраф и отдавал в руки эсаулам, которые, положив виноватого на землю, садились ему на руки и на ноги и толстыми

палками отсчитывали по спине определенное количество ударов. Таким образом наказано было 40 человек, некоторых из них оттаскивали с мест полумертвыми». Это – из «Известия» Радожицкого.

Пока это делалось руками союзников. Позже стали гонять сквозь строй.

Радожицкий: «28 июля из отряда генерала Булгакова два казака Хоперского полка посланы были в отгонный табун. На пути напали на них 6 человек пеших персиян и первым залпом из засады убили одного казака, а под другим ранили лошадь. Опешенный казак защищался храбро и успел пересест на лошадь убитого товарища своего, на которой ускорился к пикету, стоявшему у дербентской дороги. Отсюда послали казака с известием в отряд, а остальные с пикета поскакали за разбойниками, но сии успели скрыться».

Дальнейшая логика развития событий вполне стандартна как для 1796-го, так и для 1820 года: «Чтобы иметь сведения о людях, учинивших злодеяние, казаки схватили находившегося вблизи того места пастуха и доставили его в отряд. В допросе показал он на одного персиянина из селения; посланная за ним команда доставила его со всем семейством в отряд. Персиянин после продолжительного допроса показал на действительного убийцу, за которым послали команду егерей с офицером. Доставленный преступник сознался в злодеянии, и его расстреляли. <...> 26 сентября в ночь напали 20 человек горцев на четырех солдат, находившихся на одной из мельниц, близ города Кубы, и ранили одного; но они, отстреливаясь, ушли в город».

Персидский поход обогатил Ермолова множеством особых кавказских впечатлений.

4

Активные действия против крепости начал именно отряд Булгакова сразу после того, как блокировал Дербент с южной стороны. Артиллерия отряда обстреляла крепость гранатами, вызвавшими небольшие пожары. В обстреле участвовал и полукартаульный единорог Ермолова. Перед этим, в ночь со 2 на 3 мая, была предпринята попытка взять штурмом одну из башен, прикрывающих подходы к самим крепостным стенам.

Варвара Ивановна Бакунина описала этот драматический эпизод со слов непосредственных участников: «В тот же день вечером, несмотря на страшную темноту, на грозу и дождь, русские непременно хотели овладеть башней. <...> Ее штурмовали, и нашим удалось сначала взобраться на нее, но персы защищались энергично; это земляное укрепление имело несколько сводов, которых русским не удалось пробить и под защитой которых персы стреляли по нашим войскам. Гренадеры Воронежского полка отступили, несмотря на усилия своего полкового командира, который сам неоднократно влезал на лестницу, но был опрокинут с нее и ранен камнем, брошенным из башни. <...> Персы осыпали наших градом камней, и таким образом русские с позором возвратились в лагерь; действительно, было позорно отступать перед персами, но в этом нельзя винить солдат: у них были плохие руководители, им не говорили, что опасность будет так велика, они ожидали встретить гораздо меньше сопротивления; темнота ночи и храбрая защита персов заставили их потерять голову <...>».

Это был суровый урок. Стало ясно, что недооценивать персов не следует, и на следующий день башню стали методично разрушать артиллерийским огнем, после чего повторили штурм и добились успеха. Но и этот успех стоил недешево.

Радожицкий: «Персияне защищались отчаянно и были все перебиты».

Штурму предшествовала установка батареи Ермолова. О своем участии в осаде Дербента Ермолов рассказал Ратчу весьма лаконично: «2 июня граф Зубов разбил свой лагерь в виду крепости, на северной стороне; на другой день отряд Булгакова после 5-дневного перехода стал на южной, к изумлению гарнизона.

В следующую ночь была отрыта траншея, и как осажденные оборонялись только из ружей, то батареи и были возведены весьма близко. В верно сосчитанных 40 саженьях от крепостных верков Алексей Петрович поставил 7 июня свои орудия на построенную бреш-батарею, два дня не прекращал огня, и 9-го числа образовались две бреши, одна в башне, на южной стороне, другая в стене, к ней прилегающей. Не менее удачно было действие остальных батарей. 10-го июня крепость покорилась».

Ермолов, рассказывающий о событиях почти семидесятилетней давности, существенно ошибается.

Прежде всего, события происходили не в июне, а в мае. Для того чтобы сопоставить нарисованную Ермоловым картину с реальностью, нужно привести данные Радужицкого, восходящие к дневнику участника похода и поддержанные сведениями Буткова и Бакуниной.

Радужицкий: «В следующие дни производилось обозрение города инженерными офицерами и самим графом Зубовым для заложения батарей и проведения траншей; войски со всех сторон обложили город не далее 400 сажень от оногo; к морю поставлена была кавалерия, со стороны гор егеря и несколько артиллерии. Во время движения наших войск производилась из городских пушек безвредная стрельба. Для предохранения артиллерии от неприятельских выстрелов 7 мая в ночь сделана с южной стороны в 200 саженьях от города батарея для 5 тяжелых орудий, а с северной против третьей башни для 4-х таких же пушек и одной мортиры».

Ермолов вспоминает, что «осажденные оборонялись только из ружей», в то время как имеется ряд свидетельств о пушечной стрельбе из крепости и далеко не всегда «безвредной». Но, ошибаясь в одних случаях, Ермолов оказывается точен в других – имеющих непосредственное отношение к нему самому.

Судя по сведениям Радужицкого, русские батареи располагались в 200 саженьях от крепости, в то время как Ермолов говорит о 40 саженьях.

Но участник осады Бутков в «Материалах» свидетельствует: «8 и 9 числа мая все батареи наши действовали по крепости с отменным напряжением. Две бреш-батареи отстояли от крепостного замка не далее 40 сажень; и 10 числа совершенно почти разрушен угол крепостного бастиона, самого крепкого в Нарын-Кале».

Те пять тяжелых орудий, стоявших с юга, где и располагался отряд Булгакова, о которых пишет Радужицкий, скорее всего и есть орудия Ермолова. У него их должно было быть шесть, но вспомним, каким испытаниям подвергся отряд Булгакова при переходе через табасаранские горы. Одно орудие могло быть повреждено.

Относительно расстояния Ермолов оказывается прав – Бутков это подтверждает. Как и во время штурма Праги, Ермолов выставил свои орудия на рискованную, но наиболее эффективную дистанцию. Это был его стиль.

В «Записке», составленной по горячим следам, явно на основе дневника, Бутков говорит об одной бреш-батарее, которая начала действовать 8 мая.

Разумеется, Дербент обстреливали десятки орудий, но с разной степенью эффективности.

Очевидно, что «вред» от батарей, отстоявших от крепости на 200 сажень, и от ермоловских орудий существенно разнился. Результат стрельбы с 40 сажень – 85 метров – несравним со стрельбой с 200 сажень – 420 метров. Ермоловская батарея была почти в упор, подвергаясь при этом ответному ружейному и пушечному огню осажденных. По свидетельству Буткова, «ружья их доставали сажень на 150».

Башня, при неподготовленном штурме которой зря легли 40 гренадер Воронежского полка, вскоре была взята.

10 мая, «Записка» Буткова: «В сей день решилась судьба Дербента. Действовавшая с отменным напряжением канонада и более отваление большей части башни, которую они

полагали непобедимою к брешу, поразило весь народ так, что пять человек от общего собрания, выскоча из ворот крепости на батарею господина генерал-майора Бенигсона (Беннигсена. – Я. Г.), признали себя побежденными и просили помилования. <...> Вскоре потом все батареи замолкли. К графу принесены ключи крепости тем самым 120-летним персиянином, который подносил их и Петру Великому. Ших-Али-хан со всеми своими чиновниками выехал в графский лагерь».

К хану приставили караул. Войска вошли в город и приступили к разоружению гарнизона. Через некоторое время хан, поклявшийся в лояльности России, получил относительную свободу, бежал и начал партизанскую войну против русских.

С падением Дербента дорога в Персию была открыта. Корпус пошел на Баку, и 13 июня хан бакинский Гусейн-Кули-хан, выехав навстречу русским войскам, вручил Зубову ключи от города.

Заслуги Ермолова Зубов оценил, и, как только наступило некоторое затишье в боевых действиях и можно было подвести предварительные итоги, командир корпуса обратился к капитану артиллерии:

«Милостивый государь мой, Алексей Петрович!

Отличное ваше усердие и заслуги, оказанные вами при осаде крепости Дербента, где вы командовали батареею, которая действовала с успехом и к чувствительному вреду неприятеля, учиняют вас достойным ордена Св. равноапостольного Князя Владимира, на основании статута того. Вследствие чего, по данной мне от Ее Императорского Величества Высочайшей власти знаки сего ордена четвертой степени при сем к вам препровождаю, предлагаю оные на себя возложить и носить в петлице с бантом; о пожаловании же вам на сей орден Высочайшей грамоты представлено от меня Ее Императорскому Величеству. Впрочем я надеюсь, что вы, получив таковую награду, усугубите рвение ваше к службе, а тем обяжете меня и впредь ходатайствовать пред престолом Ее Величества о достойном вам воздаянии. Имею честь быть с почтением вам,

Милостивого государя моего, покорный слуга, граф *Валериан Зубов*.

Августа 4 дня 1796 года».

Согласимся, что при стандартном содержании документа обращение Зубова к человеку, отстоящему от него формально неизмеримо ниже по иерархической лестнице, наводит на мысль о не совсем формальных отношениях.

23 сентября Екатерина II подтвердила награждение и направила грамоту Зубову для вручения Ермолову.

5

Между тем поход перестал напоминать воинственную прогулку.

«Материалы» Буткова: «Главная часть Каспийского корпуса, отдохнув 20 числа (мая. – Я. Г.) в Шамахийском ущелье, 21 следовала далее по оному на пути к Старой Шамахе и расположилась на возвышенном месте, в урочище Курт-Булахский Ейлак. Здесь предпринято дать войскам отдохновение, доколе минуют наставшие жары. Переход сей был столь труден, что обозы и провиантские транспорты едва в неделю могли в лагерь собраться. <...> Продовольствие к сим войскам доставляемо было из Баку, далее 110 верст отстоящей, сухопутным подвозом на волах и верблюдах подвижного магазина, через горы, с преодолением немалых затруднений, с немалым изнурением скота и потерей оного».

Кроме проблем со снабжением возникали и нарастали иные опасности.

Лояльность населения была отнюдь не безусловна. Девиз, под которым русские войска вошли на прикаспийские земли, – освобождение народов, страждущих под игом узурпатора и тирана Ага-Магомет-хана, – был убедителен далеко не для всех. Корпус Зубова, рассредо-

точенный теперь на обширной территории, рисковал оказаться окруженным многочисленным враждебным населением.

Инициатором и организатором сопротивления стал беглый Шейх-Али-хан, а потому главной тактической задачей стала поимка дербентского хана.

«Записка» Буткова: «24-го (мая. – Я. Г.) Его превосходительство Сергей Алексеевич, взяв в команду свою Кавказский гренадерский полк, 3-й егерский кубанский батальон, 4 орудия главной артиллерии (пушки Ермолова. – Я. Г.), Хоперский и Семейный казачьи полки, выступил с оными к Кубе, для удержания жителей от наклонности к Шейх-Али-хану».

Стремительные броски в горы с целью заставить дербентского хана врасплох и захватить не приносили результата.

Корпус двигался медленно, стараясь закрепить за собой пройденное пространство, что становилось все труднее. Растянута коммуникация делала их особенно уязвимыми.

Шейх-Али-хан и его соратники отнюдь не ограничивались малыми диверсиями и налетами. Они вырабатывали стратегию и тактику постоянного давления на русских.

«Материалы» Буткова: «Доходящие ежедневно слухи, что партия Шейх-Али-хана в горах приметно умножается, заставили опасаться последствий, могущих быть нам неприятными, если жители выйдут из нашего повиновения и присоединятся к замыслам беглеца».

Главная задача по отражению нападений дербентского хана возложена была на отряд генерала Булгакова. Но, как вскоре выяснилось, кавказского опыта Булгакова не хватало для эффективной борьбы с хитроумным противником.

Просчеты генералов и офицеров оплачивались сотнями жизней.

«С такими пособиями (поддержка дагестанцев и тайная помощь кубинского наиба. – Я. Г.) Шейх-Али-хан и Хамбутаи предприняли сделать удар на кубинский отряд и знатное число войск совокупили при деревне Олпане, кубинского владения и кубинского округа... отделившейся от лагеря российского отряда только восьмью верстами, покрытыми дремучими лесами.

Начало к тому сделано 30 сентября. Партия шейхалиханова отогнала 145 волов подвижного провиантского магазина кубинского отряда, принадлежавших вольным фурщикам, пасшихся недалеко от отряда, и захватила бывших при них двух малороссиян.

Генерал-поручик Булгаков послал при капитане Семенове 100 егерей к стороне гор, откуда неприятельская партия исходила, для открытия неприятеля. Сей деташамент, отойдя 4 версты, нашел неприятельские пикеты и, остановясь, послал о том донесение к Булгакову. Сей немедленно отправил в усиление сей команде при подполковнике Бакуnine 200 егерей, 100 гренадер, 100 казаков и две или три егерские пушки. Тогда была уже ночь, как сей деташамент присоединил к себе команду капитана Семенова. Несмотря на то, оный в густоте леса и в темноте ночи продвигался вперед и вел небольшую перепалку с пикетами неприятельскими, которые отступали. Таким образом, подполковник Бакунин приблизился к деревне Олпан 1 октября.

Положение сей деревни на косогоре: на пути к ней российского деташамента лежал глубокий овраг, коим оканчивался лес. Здесь скрывалось неприятеля не менее 13 тысяч.

Лишь только Бакунин к сей засаде приблизился, как вдруг вся она толпа ударила на него в ручной бой. Сражение было жестокое. Пушки могли только сделать несколько выстрелов и достались в неприятельские руки. Неприятель тем жесточе наносил войскам нашим поражение, чем менее его ожидали и чем способнее было для него место битвы. Подполковник Бакунин был убит в самом начале, и сие усугубило расстройство; с ним же пало обер-офицеров 6 и нижних чинов 245; ранено нижних чинов 55, притом потеряно, кроме прочих вещей, ружей 24 и пистолетов 154. Оставшиеся обметались бревнами и оборонялись; но неприятель был уже доволен своим успехом».

Это классический прием горцев, с которым русским предстояло неоднократно сталкиваться в ходе Кавказской войны, – заманивание противника в лес, где у горцев были все тактические преимущества: внезапность нападения, абсолютная ориентация на местности, возможность раздробить привычное для русских военных построение и убивать их поодиночке.

Ермолов, естественно, был подробно осведомлен о трагедии 1 октября и ее обстоятельствах. Это был уже не угон нескольких волов, не захват нескольких пленных или фур с провиантом. Это было проигранное сражение с тяжелыми потерями. Это было горькое свидетельство недооценки противника. Это было свидетельство недостаточного понимания специфики подобной войны: вместо казаков, способных быстро прибыть к месту боя, на помощь погибающему отряду отправили медленно движущуюся пехоту.

Когда на выручку отряду Бакунина подоспел Углицкий полк, все было кончено.

Раджицкий: «Полковник Стоянов, пришед на место сражения, нашел убитыми: подполковника Бакунина, двух капитанов, двух поручиков, одного подпоручика и 240 рядовых, обезображенных, обнаженных».

Последнее обстоятельство – надругательство над телами убитых врагов – было непривычной и страшной особенностью Кавказской войны, свидетельствующей о мере ожесточения противника и его непримиримости.

Будущий проконсул Кавказа должен был это все запомнить.

Ни Зубов, ни Булгаков не были готовы к такой войне, не готовы были на жестокость реагировать равной жестокостью. Метод круговой поруки, который будет практиковаться в Кавказской войне, когда за нападение на русские войска наказывали целые общины, уничтожая население аулов, здесь еще не практиковался. Пока установка была иная. В октябре 1796 года все ограничилось чисто экономическими санкциями. «В наказание за вероломство жителей Кубинской провинции не стали покупать у них провианта и фуража за наличные деньги, а собирали оный реквизиционно».

Зубов помнил наказ императрицы и следовал ему.

6

К моменту падения Дербента Ага-Магомет-хан ушел с Муганских полей, где стоял после нашествия на Грузию, и, отступив в коренные персидские пределы, готовился к будущим боям. Перед лицом российского наступления персы и турки, исконные противники, готовы были к тактическому союзу. Командующий турецкой полевой армией сераскир Юсуф-паша передислоцировал войска из турецкого Эрзерума в Ахалцих на границе Грузии и готов был прийти на помощь персидскому шаху. Кроме того, он подкупал аварцев и лезгин, убеждая их, что русские, закрепившись у подножия Южного Кавказа, на этом не остановятся и будут посягать на их свободу. Судя по тому, что в отрядах дербентского и казикумыкского ханов уже воевали лезгины и акушинцы-даргинцы, горцы разделяли эти опасения.

Перед русскими войсками, ушедшими далеко от своих баз, вставала реальная перспектива оказаться лицом к лицу с сильной и агрессивной коалицией. Неопытному Зубову приходилось вести тонкую игру с многочисленными владельцами, которых пугало возвращение безжалостного Ага-Магомета и которые не были уверены в прочности российской власти в Прикаспии. Не говоря уже о сложности их собственных отношений друг с другом.

Бутков рассказывает о хитроумном заговоре нескольких ханов, демонстрирующих свою лояльность русскому командованию, а на самом деле готовивших убийство Зубова и его штаба. Избежать катастрофы помог счастливый случай.

Несмотря на это, Зубову приходилось лавировать.

Открытая конфронтация с сильными владельцами, готовыми объединиться против русских, чревата была серьезной опасностью – разрывом коммуникаций, истощением сил в локальных схватках, необходимостью оставлять в городах гарнизоны, сокращая тем самым ударную силу корпуса.

История заговора и интриги ханов, их лицемерие и коварство были, разумеется, известны в войсках. Ермолов, как человек, близкий к Зубову, тем более не мог всего этого не знать. Играло роль и то обстоятельство, что именно бригада генерала Булгакова должна была обезопасить корпус от происков Шейх-Али-хана.

Осенью 1796 года корпус Зубова вышел на нижнее течение Куры и расположился в Сальянской степи и отчасти в Муганской – там, где собирался зимовать Ага-Магомет-хан. Надо было и русским войскам готовиться к зимовке и кампании будущего года.

Беседуя с Ратчем, Ермолов почти ничего не сказал о своем участии в событиях после взятия Дербента. Единственное упоминание у Ратча о периоде после Дербента скупо и не очень внятно: «Действиям Раевского на Куре много способствовали его удобоподвижные полковые пушки, наводившие на неприятеля страх и ужас. На долю Ермолова приходилось преимущественно действовать на переправах».

То, что Ермолов называет Раевского, – знаменательно. Очевидно, их связь не прекращалась и во время Персидского похода. У нас нет сведений о сколько-нибудь серьезных операциях русских войск после выхода на Куру. Но, судя по рассказу Ермолова, не было и мира. Надо полагать, что речь идет о локальных боевых столкновениях – отражениях вылазок отрядов Шейх-Али-хана и его сторонников.

В формулярном списке Ермолова говорится об участии после осады Дербента «в усмирении горских народов»...

Неизвестно, как развивалась бы кампания 1797 года, но 6 ноября 1796 года внезапно умерла императрица Екатерина II. 1 декабря в отряд генерала Булгакова прискакал из Петербурга подполковник граф Петр Витгенштейн с известием о вступлении на престол Павла Петровича и приказом о прекращении военных действий.

Новым императором было сурово наказано немедленно возвращаться на российскую территорию, причем не всем корпусом, а каждому полку отдельно.

Это был изощренный способ унижить ненавистного Павлу Зубова. Каждый полковой командир получил индивидуальный приказ об отступлении, и, таким образом, все они фактически выводились из-под командования Зубова. О военной стороне дела Павел не задумывался.

Движение отдельными полками было чревато катастрофой. Шейх-Али-хан со своим ополчением неизбежно воспользовался бы этой раздробленностью войск корпуса. Поэтому на военном совете решено было двигаться крупными соединениями.

До выхода с завоеванных территорий необходимо было произвести целый ряд сложных маневров для концентрации войск, обеспечения прикрытия отступающих и выбора наиболее удобных маршрутов.

Функцию прикрытия осуществлял отряд генерала Булгакова, так что Ермолов с его орудиями находился в состоянии боевого напряжения до того момента, когда полки миновали Дербент и приблизились к российским землям.

Ратч записал после очередной беседы с Ермоловым: «Обратный поход в ненастное время был из самых тягостных. У Ермолова лафеты ломались беспрестанно; один только почтенный старец лафет 1/2 картаульного единорога, помнивший графа Шувалова, вернулся без ломки и починок. Лихие кубинские батальоны, бывшие в отряде Булгакова, полюбили своих ратных товарищей артиллеристов и безропотно тащили пушки». Как и в Польской кампании, статус волонтера дал Ермолову немалые преимущества и свободу действий: миновав Дербент, Ермолов сдал свою команду и следовал при войсках «вольным казаком».

В шести переходах за Дербентом войскам, ожидавшим с нетерпением возвращения в теплые хаты, было разрешено идти по полкам. Но гроза была впереди.

В Кизляре бушевал Гудович, вымещавший на прибывающих свою злобу, что не ему было поручено командование войсками в бывшем походе.

«Ярым зверем встречал он полки, и, как молния, сделались известны по войскам его приемы. *Sauve qui peut*⁵ – было общим лозунгом для всех, кого не останавливали при войсках обязанности службы. Минуя Кизляр, Ермолов степью пробрался до Астрахани».

Мы узнаем здесь живые интонации – Алексей Петрович до глубокой старости сохранял ненависть к Гудовичу, которого во времена своего кавказского владычества упоминал не иначе как с бранными эпитетами. На воспоминания Ермолова о «яром зверстве» генерала зимой 1796 года впоследствии наложилось резкое отрицание его политики на Кавказе.

Несложно представить себе душевное состояние Ермолова во время неожиданного отступления. Рухнуло все: мечты о подвигах на просторах Азии, участие в осуществлении грандиозных замыслов Потемкина, восходящих к не менее грандиозным планам Петра Великого, надежды на быстрое продвижение по службе.

Он понимал конечно же, что со смертью императрицы круто изменится положение его покровителей – Самойлова и Зубова – и что кончается привольная жизнь, кончаются свободные поиски славы... А что предстоит? Унылая офицерская лямка?

Но дело было не только в его индивидуальной судьбе. Мгновенный – по самодержавной воле – крах Персидского похода означал перелом времен, конец эпохи великих замыслов.

Когда через четыре года, в январе 1801 года, за полтора месяца до своей гибели, император Павел поднял все Войско Донское и отправил 41 конный полк через оренбургские степи в сторону Индии, это была карикатура на великое деяние. Поход был абсолютно не подготовлен и обречен.

Наступала эпоха службы, а не деяний. И самолюбивому, честолюбивому, уверовавшему в свою фортуна, грезившему о скором и высоком взлете капитану Ермолову предстояло вживаться в эту новую эпоху.

Он и представить себе не мог, какие унижения ждут его впереди. А он, баловень судьбы, не был к этому готов.

И однако же именно Персидский поход предопределил будущее Ермолова.

Именно опыт Персидского похода заставил Ермолова после Наполеоновских войн добиваться назначения на Кавказ, в результате чего он остался в русской истории тем Ермоловым, которого мы помним.

Глубокий знаток волнующей нас проблематики, серьезный историк, еще не ставший тогда одним из палачей русской исторической науки, Михаил Николаевич Покровский писал в начале 1900-х годов: «Война с горцами – Кавказская война в тесном смысле – непосредственно вытекала из этих персидских походов: ее значение было чисто стратегическое, всего менее колониционное. Свободные горские племена всегда угрожали русской армии, оперировавшей на берегах Аракса, отрезать ее от базы»⁶.

Пройдет два десятилетия после Персидского похода, и генерал Ермолов, всматриваясь в глубины Азии, поставит своей целью раз и навсегда ликвидировать эту угрозу. «Проконсул Кавказа», суровый усмиритель «горских хищников» – «Смирись, Кавказ! Идет Ермолов!» – родился в 1796 году на берегах Каспия.

⁵ Спасайся, кто может (*фр.*).

⁶ Покровский М. Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. Лондон, 1991. С. 179.

Катастрофа

1

Прорыва в Азию не произошло. Ермолов вернулся в Петербург.

11 января 1797 года он был произведен в майоры – подошел срок присвоения очередного чина.

Двадцатилетний артиллерии майор Алексей Ермолов вернулся в мир, принципиально отличный от того, из которого он отправился завоевывать «золотые страны Востока».

Граф Самойлов уже был в отставке. Граф Валериан Зубов – тем более.

Привыкший чувствовать себя под сильной опекой, Ермолов должен был ощутить угнетающее одиночество. Прошли времена, когда он мог по своему желанию выбирать место службы – от Италии до Персии. Теперь ему предстояла заурядная судьба бедного офицера без протекции.

Автор наиболее основательной биографии Ермолова А. Г. Кавтарадзе писал: «По возвращении в Россию Ермолов был назначен сначала в артиллерийский батальон генерала Иванова, а в январе 1797 года, с производством в майоры, переведен в батальон генерала А. Х. Эйлера, где командовал артиллерийской ротой, расквартированной в городе Несвиже Минской губернии»⁷.

Это не совсем так, ибо речь идет о генерал-лейтенанте Христофоре Леонардовиче Эйлере, а не о его сыне Александре Христофоровиче, ставшем генералом уже в XIX веке. К тому же Эйлер был не командиром, а шефом батальона. Командиром был подполковник Иванов, так что никто Ермолова из батальона в батальон не переводил.

Артиллерийские части в ту пору были весьма разбросаны, так что хотя батальон был дислоцирован в Несвиже, штаб 4-го артиллерийского полка, куда он входил, размещался в Смоленске.

О жизни Ермолова в Несвиже сохранилось лишь одно прямое свидетельство – письмо Алексея Петровича брату Александру Михайловичу Каховскому в его имение Смоляничин:

«Любезный брат Александр Михайлович!

Я из Смоленска в двое суток и несколько часов приехал в Несвиж, излишне будет описывать вам как здесь скучно, Несвиж для этого довольно вам знаком, я около Минска нашел половину нашего батальона отправленную в Смоленск, что и льстило меня скорым возвращением к приятной и покойной жизни, но я ошибся чрезвычайно. Артиллерия вся возвращена была в Несвиж нашим шефом или лучше сказать прусскою лошадей (на которую надел Государь в проезде орден 2 класса Анны), нужно быть дураком, чтобы быть счастливым. Кажется, что мы здесь долго весьма пробудем, ибо недостает многого числа лошадей и артиллерию всю починять нужно будет. Я команду здесь шефскою ротою, думаю с ним недолго будем ходить, я ему ни во что мешаться не даю иначе с ним невозможно. Государь батальону приказал быть здесь впредь до повеления, а мне кажется уж навсегда. Мы беспрестанно здесь учимся, но до сих пор ничего в голову вбить не могли и словом каков шеф, таков и батальон, обеими похвастаться можно, следовательно и служить очень лестно. Сделайте одолжение, что у вас происходило во время приезде Государя уведомить и много ль было счастливых. У нас он был доволен, пожалован один наш скот.

⁷ Кавтарадзе А. Г. Генерал А. П. Ермолов. Тула, 1977. С. 14.

Несколько дней назад проехал здесь общий наш знакомый г. капитан Бутов, многие его любящие или лучше сказать здесь все бежали к нему навстречу. Один только я лишен был сего отменного счастья, должность меня отвлекала, но я не раскаиваюсь, хотя он более обыкновенного мил был.

Поклонитесь от меня почтеннейшему Выробову, Каразцеву тож, любезному Тредьяковскому, может и... Бутлеру, хотел писать на италийском диалекте, но нет время, спешу, офицер сию минуту отправляется, однако же с первым удобным случаем ему и Глаткову писать буду, Мордвинову также. Я воображаю его в Поречье и режущегося со своим шефом, как в скором времени надеюсь резаться со своим, но он еще меня счастливей, он близко от Смоленска, от... от вас, которые можете разогнать его скуку, а я имел счастье попасться между такими людьми, которые только множить ее могут. Вспомните обо мне Бачуринскому, Стрелевскому и всем тем, которые меня не совсем забыли. Прощайте.

Алексей Ермолов <1797 г.>

13-го мая

Проклятый Несвиж резиденция дураков».

Сочиняя и отправляя письмо, тоскующий майор не мог предполагать, сколь роковую роль сыграет в его судьбе это саркастическое послание...

«Г. капитан Бутов», неожиданно возникающий в письме, – это не кто иной, как император Павел. Этим странным прозвищем наградили его в офицерском кругу, к которому принадлежал теперь наш герой.

Характеристика Несвижа как «резиденции дураков» и проклятого захолустья вряд ли соответствует действительности, но органично вписывается в мировоззренческую стилистику молодых офицеров круга Каховского, и Ермолова в частности.

Несвиж – древний город с бурной историей, известный замком-крепостью князей Радзивиллов, костелами, католическими монастырями, в котором недавно еще были театр балета и кадетский корпус, – после второго раздела Польши в 1793 году отошедший к Российской империи, разумеется, сильно поблек к концу девятых годов. Но в другой ситуации он произвел бы на Ермолова совсем иное впечатление.

Судя по письмам к нему Казадаева, с которыми мы скоро познакомимся, у него было в Несвиже отнюдь не только общество польских дам, но и дружественный русский круг.

Однако восприятие службы в новых условиях как ссылки диктовало Алексею Петровичу и его друзьям соответствующий стиль описания своей жизни. Они культивировали эту бытовую мрачность, поскольку она соответствовала их идеологическим установкам.

Надо учесть и то еще, что письмо для них было не только средством донесения некоей информации, но и своего рода художественным текстом, оформлявшим их явно романтическое мировидение, предполагавшее неприятие низкой реальности.

Артиллерии майор Ермолов уже прошел Польскую и Персидскую кампании, подвергался смертельным опасностям, однако письмо это написано совсем молодым человеком, который радостно демонстрирует старшему брату и его друзьям свою независимость по отношению к высшей власти и презрение к непосредственному начальству. Пора созревания и сознательного выстраивания своих взаимоотношений с державным миром только начиналась.

В письме двадцатилетнего майора прежде всего читается дерзкий задор молодого честолюбца, который, как говорится, много о себе понимает, а оказывается в захолустье и под командованием человека, которого в грош не ставит.

Трудно сказать, насколько Алексей Петрович был справедлив. Хотя Христофор Леонардович Эйлер не унаследовал таланта своего отца, великого математика Леонарда Эйлера, но он при Екатерине командовал артиллерией в Финляндии и всей артиллерией пограничных крепостей на этом направлении. Возможно, Ермолов и превосходил своего начальника

в профессиональном отношении, но дело было, скорее всего, не в профессии, а в политической установке и представлении о правах офицера и дворянина.

2

Подполковник дислоцированного в Смоленске Московского гренадерского полка Ломоносов писал 27 апреля 1797 года Каховскому: «Сию минуту я получил, бесценный Александр Михайлович, письмо к вам от Петра Семеновича, которое с нарочным к вам отправляю; кстати, ибо я без того было имел нужду вам изъясниться кое о чем, что вы там делаете в ваших вотчинах? в теперешние часы дела всего в порядок не приведешь. Слушай! вчерашний день Мих. Мих. получил от Бутова письмецо следующего содержания, чтобы всех лошадей отобрать от обывателей и чтобы каждые две тысячи душ имели оных комплект, равно и под тяжкие фуры. Словом, чтобы сие было сполна, и говорят и видно, что в этой деревне нам не ужиться, а будет переезжать в другую. Есть, однако ж, кое-что мне говорить с вами, но я оставлю сие до свидания... Мих. Мих. в великой работе и, право, дело идет не на шутку.

Бога ради, приезжай поскорее, если можешь, завтра, право, крайняя нужда. Еропкина целую душевно, у Молчанова целую ручки. Прощайте, любите и не забывайте верного вам друга

Третьяковского».

Письмо это содержательнее, чем может показаться на первый взгляд.

Петр Семенович Дехтярев в это время командовал Санкт-Петербургским драгунским полком, стоявшим неподалеку от Смоленска, в Поречье, и был одним из главных действующих лиц зарождавшейся драмы⁸.

Офицеры, группировавшиеся вокруг Каховского и составившие если не подобие тайного общества, то некую особую общность, в письмах называли себя забавными псевдонимами. Так, подполковника Ломоносова очень удачно обозначили именем антагониста настоящего Ломоносова – Тредьяковским. Молчанов – это сам полковник Каховский. Еропкин – Ермолов. Мих. Мих. – смоленский военный губернатор генерал Философов, с которым Каховский и его друзья были в весьма коротких отношениях.

Судя по тому, что Ломоносов обращается и к Каховскому, и к Ермолову, Алексей Петрович гостил в это время в имении старшего брата.

Письмо – тревожное. Указ императора, предписывавший военному губернатору в мирное время реквизировать обывательских лошадей и устанавливавший квоты на обеспечение армии лошадьми, в том числе тяжеловозами, свидетельствовал о тенденциях нового царствования. Настойчивое приглашение Каховского, несомненного лидера, в Смоленск, скорее всего, вызвано потребностью обсудить складывающуюся ситуацию.

Еще красноречивее письмо полковника Дехтярева, скрывавшегося под именем Гладкова, пересланное Ломоносовым:

«20 апреля. Вот я наконец в своем Поречье, Молчанов и милый Еропкин, чувствуете без сомнения, в какое положение паки обратилась огорченная душа моя. Я опять свинья, глупая и скучная скотина – мухи и клопы не дают жить чувствительному сердцу. Плеханов бутов слуга! Судите, можно ли надеяться на кого-нибудь. Неужели глаткова озера я не увижу никогда? Неужели какого-нибудь перелому не сделается с грустными обстоятельствами бед-

⁸ Делом «кружка Каховского» занимался в разное время ряд исследователей: *Снытко Т. Г.* Новые материалы по истории общественного движения конца XVIII века // *Вопросы истории.* 1952. № 9; *Нечкина М. В.* Движение декабристов. М., 1955; *Рябков Г. Т.* Ранняя преддекабристская организация // *Материалы по изучению Смоленской области.* Смоленск, 1963. Вып. V; *Сафонов М. М.* Проблемы реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX веков. Л., 1988.

ного полковника Глаткова». Далее идет замечательный по выразительности пассаж, свидетельствующий об их молодости и о том, что жизнь их отнюдь не исчерпывалась сетованиями и тоской. А кроме того, дающий представление о некоторых чертах бытового поведения нашего героя: «А похолостить Еропкина можно и в Смоленске. Как бы я рад, если б ему, проклятому, вместо маленькой операции отхватили всю мошну. Не боялся бы бедный полковник Глаткой ходить оленем, так как он щеголял в Смоленске, и тогда при всем надежном росте Еропкина и гладком личике женщины сказали бы об нем, что он

Гнилой орех

И еть ему давать, сочли б за тяжкий грех!»

«Письмо Еропкину! ты мой меньшей брат! обещал мне быть шевалье. Посмотрим, выдержишь ли ты свое слово <...>.

O gran bonta' de cavaglieri antiqui!
 Eran rivali, eran di fe' diversi,
 E si senti(v)an degli aspri colpi iniqui
 Per tutta la persona ani(m)o dolersi;
 E pur per selve oscure e colli obliqui
 Insieme van senza sospetto aversi.
 Dei quattro sp(r)oni il destrier (al) punto arriva,
 Dove una strada in duo si dipartiva. —

Ну, теперь выбирают пусть, куда иттить – направо или налево. Каков я, италианец? Не тебе чета с твоей е... м... Ариостом.

Сию минуту получил от бедного Капылова прежалостное письмо. Его отца ударил паралич и он отправился в Елисейские! Старику небрежно объявили, что его сын, любезное чадо, имеет честь служить солдатом (то есть разжалован из офицеров в рядовые. – Я. Г.), вот отчего он и улыбнулся.

Прощайте, милые друзья, дай бог! чтоб мы были всегда друзьями, а прочее все будет хорошо».

Обратим внимание на последнюю фразу. Это культ дружбы, столь характерный в конце XVIII – начале XIX века, игравший огромную роль в жизни просвещенных русских дворян.

Не всё в этом письме поддается толкованию, поскольку мы не знаем конкретных обстоятельств, на которые намекает Дехтярев. Но главное и наиболее для нас важное – понятно.

Им было тяжело служить в новой павловской атмосфере. Им было тяжело оказаться в глухом захолустье после боевой службы. Им были противны сослуживцы, выслуживающиеся перед новым императором и его клеветами. Они жаждали перемен.

Множественное число означает – и мы в этом убедимся, – что полковник Дехтярев был не одинок в своем взгляде на окружающую жизнь.

Это может показаться странным, но, иронизируя над привязанностью «младшего брата» к Ариосто, Дехтярев цитирует именно «Неистового Роланда». Причем цитирует отнюдь не наугад и не бессмысленно. (Правда, с небольшими описками.)

В первой песне поэмы, откуда взяты были Дехтяревым эти строки, рассказывается о жестокой схватке воина-мавра и рыцаря-христианина, влюбленных в красавицу Анжелику, которую оба они пытаются настигнуть. Чтобы не потерять след Анжелики, они прекращают бой и, помогая друг другу, ибо оба изранены, пускаются за ней.

Существует стихотворный перевод поэмы, но он по необходимости не точен. Поэтому стоит обратиться к подстрочнику.

О, великое благородство старинных рыцарей!

Они соперничали, принадлежа к разным верам,
Они ощущали себя виновными в тяжких грехах,
И умели сострадать друг другу,
И по узким тропам темного леса
Едут вместе, не испытывая сомнений,
Едут до того места, где раздваивается дорога.

Но полковник Дехтярев вкладывает в итальянский текст собственный смысл – отсюда и его ирония. Во-первых, это явный намек на любовное соперничество Дехтярева с Ермоловым, о котором полковник писал ранее. Во-вторых, – и это главное – все они на перепутье: «Ну, теперь выбирают пусть, куда иттить – направо или налево». Судя по тому возбуждению, которое, как мы увидим, царило в кругу полковника Каховского, проблема выбора была весьма актуальна. И радикально настроенный Дехтярев требует от «младшего брата» не забывать о близости выбора. Как и подобает «шевалье», «благородным старинным рыцарям».

Ну а флигельный пассаж, посвященный в этом письме Алексею Петровичу, – свидетельство незаурядного успеха Ермолова у смоленских дам и его успешного соперничества с Дехтяревым. При всей своей юношеской серьезности, честолюбивых мечтах и неприязни эротических французских романов двадцатилетний красавец майор – «надежный рост и гладкое личико» – отнюдь не чурался жизненных радостей. Когда Дехтярев писал свое письмо, они еще не знали, что очень скоро «меньшой брат Еропкин» окажется в глухом Несвиже. Равно как не представляли – где вскоре окажутся они сами.

3

Кто были эти люди, сыгравшие, быть может, главную роль в формировании личности Ермолова, люди, чье воздействие было необычайно концентрированным, ибо они создавали вокруг себя и своих друзей замкнутое психологическое пространство, за границы которого психологически не могли проникнуть «бутовы слуги», носители чуждой и враждебной стихии?

Они ощущали себя ссыльными. А мы знаем, что ситуация ссылки, исключая жизненную суету, часто способствовала энергичному духовному и нравственному развитию личности. Достаточно вспомнить декабристов в Сибири, Пушкина в Михайловском. Нечто подобное происходило с кругом Каховского.

На первом месте, безусловно, стоял полковник Каховский, изгнанный Павлом из армии сразу же по восшествии на престол. Павел пытался очистить армию от людей Потемкина и Зубовых.

Кузен Каховского Денис Давыдов писал: «Александр Михайлович Каховский, единокровный брат А. П. Ермолова, столь замечательный по своему необыкновенному уму и сведениям, проживал спокойно в своей деревне Смоленичи, находившейся в сорока верстах от Смоленска, где губернатором был Тредьяковский, сын известного пииты, автора „Телемахиды“. Богатая библиотека Каховского, его физический кабинет, наконец празднества, даваемые им, привлекли много посетителей в Смоленичи, куда Ермолов прислал шесть маленьких орудий, взятых им в Праге, после штурма этого предместья, и небольшое количество пороха, коим воспользовался хозяин для делания фейерверков».

Кроме несомненных интеллектуальных достоинств, Александр Михайлович Каховский обладал высокой и заслуженной боевой репутацией.

Во время обыска у него в доме были изъяты в числе других бумаг два рескрипта на его имя от императрицы Екатерины II, из которых явствует, что Каховский был награжден

орденами Святого Георгия 4-й степени за штурм Очакова и Святого Владимира 3-й степени – за штурм Праги.

Стало быть, братья Каховский и Ермолов оба были героями штурма Праги.

Конечно же, любимый старший брат, ветеран турецких войн, отличившийся при штурмах Очакова и Измаила, широко образованный, не мог не пользоваться влиянием на брата младшего. Каховский, который был на девять лет старше Ермолова, органично усвоил представления русского офицерства о границах своих прав – в частности, о праве радикально вмешиваться в государственную жизнь.

За плечами русского офицерства, прежде всего гвардейского, к этому времени было три дворцовых переворота: 1740, 1741 и 1762 годов и два убитых законных императора – Иоанн VI Антонович и Петр III. Судя по воспоминаниям Ермолова, можно представить себе, о чем говорил старший брат с младшим...

Вторым по значимости в нашем сюжете, безусловно, стоит полковник Петр Дехтярев, друг Каховского, тоже георгиевский кавалер, командовавший Санкт-Петербургским драгунским полком, расквартированным в окрестностях Смоленска.

О нем мы знаем, к сожалению, гораздо меньше, чем о полковнике Каховском. Судя по всему тому, что нам известно, он тоже не только был человеком незаурядным, но и изначально принадлежал к тому кругу, из которого вышел и Ермолов. Это были боевые офицеры, сформировавшиеся при Потемкине и связанные затем с кланом Зубовых.

Ермолов и в новой своей ситуации, утратив свое привилегированное положение, идеологически остался в том же кругу. С одной существенной поправкой: ранее он, при всей критичности его взгляда на многих высших, отнюдь не стоял в оппозиции к общему порядку.

Теперь, в Смоленске и Несвиже, он оказался в среде «старших братьев», категорически не принимавших именно общий порядок. Его отношения с ними были куда теснее и органичнее, чем с Самойловым и Зубовым, а соответственно и влияние их оказывалось глубже и фундаментальнее.

Тем более что они демонстрировали свое неприятие новой павловской реальности с самоубийственной безоглядностью. Двадцатилетний майор, а с 1 февраля 1798 года подполковник, готов был следовать их примеру.

При всем том надо постараться представить себе психологическое состояние Ермолова в этот переломный момент его карьеры. Дело было отнюдь не только в кардинальной смене внешнего антуража: вместо дома одного из первых вельмож империи, петербургских гостиных, стремительного героического быта Польского похода в непосредственной близости от другой сильной персоны, графа Зубова, боевой экзотики итальянского приключения, Персидского похода, осененного грандиозной тенью Александра Македонского, – унылое российское захолустье. Гораздо существеннее была не менее радикальная смена политического климата. В той, прежней, жизни молодой офицер наблюдал борьбу группировок вокруг престола при полной лояльности августейшей особе. Теперь он оказался в среде, культивировавшей радикальную оппозицию государю.

4

В июле 1797 года полковник Дехтярев был отстранен от командования полком и отправлен в отставку. Одновременно Павел сменил и шефа полка. Вместо генерала Боборыкина назначен был 16 июля генерал-майор Тараканов. Полковым командиром стал полковник Петр Киндяков, которого дальновидный Дехтярев заранее взял в свой полк, как друга и единомышленника. Теперь он по иерархической логике и, очевидно, при влиятельной поддержке сменил Дехтярева. Тараканов оказался их общим другом.

У павловской администрации явно не хватало верных кадров.

Именно при генерале Тараканове и полковнике Киндякове в Санкт-Петербургском драгунском полку и начались события, вызвавшие лавину, что увлекла с собой Ермолова.

Дело, едва не погубившее Ермолова и наложившее суровый отпечаток на его характер, в начале своем, казалось бы, не имело выраженной политической подоплеки⁹.

Екатерининское офицерство, в высшей степени боеспособное и патриотичное, не отличалось дисциплинированностью. За годы победоносных войн и потемкинских реформ офицерство привыкло к мысли, что формальная сторона службы далеко отстывает перед ее сутью, то есть служением – готовностью рисковать жизнью ради Отечества и государыни.

Павел, исповедовавший принципиально иные представления о службе и служении, начал жестко «подтягивать» армию. Его назначенцы, постепенно сменяющие «екатерининских орлов», понимали, что от них требуется, и принялись выполнять свой долг так, как они его себе представляли.

В реформировании армии – повышении ее управляемости, совершенствовании структуры, сокращении расходов на ее содержание – был безусловный смысл. Но методы, которыми действовали павловские реформаторы, подражавшие резкости и самодурству императора, отказывавшиеся принимать во внимание былые заслуги боевых офицеров и представление их о личном достоинстве, вызвали озлобление и демонстративную оппозицию. То, что было невозможно в Петербурге в непосредственной близости к грозному императору, оказалось вполне возможно в провинции – в армейских частях. Проявлялся этот протест прежде всего в вызывающем бытовом поведении. Часто это выражалось и в личных столкновениях между теми, кто принял новые правила, и теми, кто их принимать не желал.

Следственное дело, заведенное в июле 1798 года, к которому оказался причастен Ермолов, было квалифицировано историками как разгром «ранней преддекабристской организации». Подобный подход вызывает сомнения. Скорее всего, участники кружка Александра Михайловича Каховского, единоутробного брата Ермолова, «канальского цеха», по их выражению, были типичными вольнодумцами Екатерининской эпохи, поклонниками Вольтера и энциклопедистов, не имевшими, в отличие от лидеров декабризма, оформленной политической программы и планов радикальных государственных реформ.

Они были плоть от плоти того гвардейского офицерства, которое уверено было в своем праве корректировать действия высшей власти и в случае необходимости менять персону на престоле.

Как резонно писал М. М. Сафонов: «По всей видимости, устремления смоленских вольнодумцев не шли дальше возвращения к екатерининскому политическому режиму при известной его либерализации»¹⁰. Но еще задолго до него Натан Эйдельман в своей блестящей книге «Грань веков» сформулировал трезвое отношение к ситуации: «Мы далеки от мысли видеть в конспирации 1797–1799 гг. сложившееся крепкое „тайное общество“; даже по сохранившимся документам видна разнородность лиц и пестрота формул (от „цареубийственных деклараций“ у смоленских заговорщиков до умеренно-конституционных или просветительских формул при дворе)»¹¹.

Надо сказать, что и термин «заговор», применяемый к сообществу Каховского – Дехтярева, тоже вызывает сомнения.

В нашу задачу, однако, отнюдь не входит полемика с исследователями, занимавшимися «делом „Каховского со товарищи“».

⁹ Материалы дела находятся в ЦГАДА. См.: ЦГАДА. Ф. VII. Ед. хр. 3251. Отдельные документы содержатся в: Ед. хр. 3245, 3246, 3249, 3250.

¹⁰ Сафонов М. М. Проблемы реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX веков. Л., 1988. С. 57.

¹¹ Эйдельман Н. Я. Грань веков. М., 1982. С. 182.

Нам важно воссоздать ту атмосферу, в которой завершал свое политическое воспитание Ермолов и в которой он получил, быть может, главный жизненный урок.

Документы дела – сотни листов, с повторами, ответвлениями, демонстрирующие подспудную борьбу вокруг судебных подследственных, – дают возможность представить полную и выразительную картину драмы, одним из персонажей которой неожиданно для себя стал двадцатилетний подполковник Ермолов.

В деле имеется черновик документа (чистовой вариант отложился, очевидно, в другом фонде), который дает возможность проследить истоки событий: «Таковая выписка 19 октября (1798 года. – Я. Г.) доставлена к Неплюеву».

Дмитрий Николаевич Неплюев был статс-секретарем императора Павла I; стало быть, документ направлен был непосредственно августейшему лицу.

«Генерал-майор Линденер по извещению бывшего в С.-Петербургском драгунском полку шефа генерал-майора князя Мещерского (сменившего генерала Тараканова 21 октября 1797 года. – Я. Г.) доносил Е. И. В. 1798 года июля от 16 дня, что у полкового командира полковника Киндякова бывают собрания, состоящие по большей части из молодых и легкомысленных офицеров, в числе коих брат полковника Киндякова отставной артиллерии поручик, который в противность высочайшему повелению носит запрещенную одежду, приближаясь в оной к разводу, других к тому наставляет. Многие из офицеров, бывая у Киндякова, в халате и шлафроке лежат на канаве, не уважая никого из штаб- и обер-офицеров, собравшихся туда по должности. А подпоручик Догановский до такой дошел дерзости, что отважился обидеть майора Лермонтова и насмешками своими наконец до того его довел, что он, не получив от полкового командира никакого удовлетворения, на дороге... (другим почерком: *прописать*. – Я. Г.).

По донесению именным указом от 24 июля 1798 года предписано... (*прописать*) От 25 июля по высочайшему повелению послать к нему, Линденеру, действительного статского советника Николева для общего по тому делу разбирательства. <...>

15 августа генерал-майор Линденер представил признание отставного майора Потемкина следующего содержания; последний... (*прописать*) По окончании следствия подсудимые привезены в Петербург, где следствие рассматривали генерал-прокурор князь Лопухин и генерал-аудитор князь Шаховской, которые всеподданнейше предоставили его императорскому величеству мнение следующего содержания... (*прописать по докладу*).

По оному воспоследовал высочайший указ на имя оных князей. По которому исключенный из службы полковник Каховский, отставной майор Потемкин, исключенный из службы капитан Бухаров лишены чинов и дворянства, заперты первый в Динамюнде, второй в Шлиссельбурге, а третий в Кексгольме, где производить каждому 10 к. в день.

Полковник Киндяков в Олекминск,
полковник Стерлингов в Киренск Иркутской губернии,
исключенный из службы полковник Дехтярев в Томск,
отставной артиллерии поручик Киндяков в Тобольск,
майор Балк в Ишим Тобольской губернии,
где за их поведением предписано смотреть;
полковник князь Хованский в Белоруссию,
полковник Сухотин в Тульскую,
полковник Репнинский в Калужскую,
исключенного из службы капитана Валяева в Малороссийскую губернию и под при-
смотр губернского начальства и следить, чтоб не въезжали в обе столицы.

Подпоручика Догановского за непристойное поведение, неуважение начальства и забой (? – Я. Г.) майора Лермонтова предать военному суду и отправить в генерал-аудиториат.

В том же ноябре генерал-лейтенант Линденер доносил, что в деревне у Каховского найдена переписка различных людей, наполненная оскорбительными величеству выражениями, нарушающими спокойствие и тишину, по которой отставной титулярный советник, бывший при генерале Философове адъютантом Кряжев, послан на вечное жительство в Вологодский Спасоприлуцкий монастырь с произвождением в день по 10 к.

А артиллерийского Эйлера батальона подполковник Ермолов исключен из службы и отправлен тоже на вечное жительство в Кострому, где за поведением его велено наблюдать».

В этом документе содержится сухой итог многообразной, пестрой истории с амплитудой от полуанекдотического фрондерства до идеи царубийства.

5

Судя по материалам дела, все началось с издевательств легкомысленного подпоручика Огонь-Догановского над майором Лермонтовым, который потребовал удовлетворения не от своего обидчика, а от командира полка. Ситуация в Санкт-Петербургском драгунском полку была, как мы увидим, политически напряженная, и полковник Киндяков, настроенный, в отличие от Лермонтова, резко антипавловски, очевидно, встал на сторону «своего».

Тогда майор Лермонтов прибегнул к политическому доносу.

Денис Давыдов зафиксировал ермоловскую версию происшедшего: «Независимое положение Каховского, любовь и уважение, коими он везде пользовался, возбудили против него, против его родных и знакомых – недостойного Тредьяковского¹², заключившего братский союз с презренным Линденером, любимцем императора Павла. Каховский и все его ближайшие знакомые были схвачены и посажены в различные крепости под тем предлогом, что будто они умышляли против правительства...»

Этот текст важен не только характеристикой Каховского, судя по всему вполне соответствующей действительности, но и особенностью своей как источника. Мы имеем дело с явным мифотворчеством.

Подробности о деле Каховского Давыдов мог получить только от Ермолова. Следовательно, Алексей Петрович был заинтересован в том, чтобы разразившаяся над ним в 1798 году опала выглядела недоразумением, следствием примитивной человеческой зависти и коварства. Ничего общего с реальностью это не имело. Ермолов вообще вносил в свою биографию весьма любопытные коррективы.

В своих заметках Ермолов говорит о предъявленных Каховскому и его товарищам обвинениях как о «вымышленных». Что же было на самом деле?

Прологом драмы можно считать арест в феврале 1798 года «выключенного» полковника Дехтярева. Он был затребован в Тайную экспедицию по доносу из Смоленска. Дехтяреву инкриминировались «неблагопристойные рассуждения и разговоры».

В истории первого ареста Дехтярева есть любопытный нюанс. В «Экстракте важным примечаниям», одном из итоговых документов, отправленных Линденером по окончании следствия в Петербург, сказано: «Сколь явно презрителей от протекторов руководство, что когда, как отправиться мне в Дорогобуж к следствию, то Дехтярев в сие время взят в Петербург из намерения, дабы тем предварить <...> Дехтярев по прибытии в Санкт-Петербург своих протекторов уверил, что ничего не будет найдено и узнано».

Язык текстов Линденера требует расшифровки. «Презрители» – это друзья Каховского, участники «канальского цеха», как они себя называли, злоумышленники, вызывающие презрение следователя. «Протекторы» – петербургские покровители злоумышленников. Линде-

¹² Лев Васильевич Тредьяковский – сын известного поэта, был в 1798 году смоленским губернатором.

нер убеждал Павла, что им обнаружен обширный заговор, нити которого тянутся далеко за пределы Смоленской губернии, и прежде всего – в Петербург.

Что до вызова Дехтярева в столицу, то Линденер пытается представить это хитроумной акцией петербургских «протекторов». Это была сознательная и весьма наивная попытка ввести в заблуждение верховную власть, ибо следственная комиссия была образована в июле 1798 года, а Дехтярев отправлен в столицу в феврале.

Этот эпизод закончился ничем. Очевидно, доносители не могли убедительно подкрепить свои обвинения, а Дехтярев твердо все отрицал. Однако ему вряд ли удалось бы избежать какой-либо кары – он недаром был отстранен от командования полком, – если бы у Каховского и его друзей не было и в самом деле сильных покровителей.

В нашу задачу не входит подробный рассказ о деле «канальского цеха». Это – материал для отдельного обширного исследования. Мы же должны дать читателю представление о ситуации, в которую волею обстоятельств оказался вовлечен Ермолов, об атмосфере, царившей в провинциальных армейских частях, о готовности, с которой многие екатерининские офицеры становились «бутовыми слугами».

За какие-нибудь полтора года двадцатилетний баловень судьбы пережил два сильнейших потрясения. О первом – резкой смене политико-психологического состояния – уже было сказано. Второе вызвано было столкновением с холодной жестокостью власти и предательством сослуживцев.

Отсюда началось превращение открытого и прямого, до дерзости самоуверенного молодого офицера в «патера Грубера» (так звали генерала ордена иезуитов, некоторое время жившего в Петербурге), как нарек его великий князь Константин Павлович, вполне Ермолову симпатизировавший, в личность с таким широким спектром противоположных качеств, что, по известному выражению, хотелось бы его «сузить».

6

В начале следствия ключевую роль сыграл, очевидно, донос майора Лермонтова. Донос этот, направленный на высочайшее имя в Петербург, в деле не отложился, но по логике дальнейших событий можно понять его содержание и с достаточным основанием предположить, что в нем выведены были на первый план Дехтярев, уже скомпрометированный и находящийся под надзором, и Каховский.

Старательному Линденеру не составило труда выяснить их связи и получить показания от нескольких «бутовых слуг».

В конце июля – начале августа 1798 года Линденер приступил к арестам.

В Дорогобуже, где в это время дислоцировался Санкт-Петербургский полк, были арестованы его командир полковник Киндяков и офицеры Стерлингов, Хованский, Сухотин, Репнинский, Балк, Валяев, Огонь-Догановский. Сразу после этого были арестованы в Смоленске полковник Дехтярев и капитан Бухаров.

5 августа Линденер приказал арестовать Каховского и произвести обыск в его имении Смоляничих.

Линденер хотел иметь документальные подтверждения преступной деятельности обвиняемых, но тут вышла осечка. Обыск в Смоляничихах был поручен уездному предводителю дворянства Сомову, который оказался родственником Каховского и сочувствовал его взглядам. Он дал знать о грядущем обыске управляющему имением Каховского капитану Стрелецкому, поскольку сам Каховский был в отъезде. Стрелецкий частично уничтожил, а частично спрятал обширную переписку своего патрона. Обыск результатов не дал. Но 8 августа Каховский был арестован и доставлен в Дорогобуж.

Было и еще одно важное обстоятельство.

В том же июле 1798 года, когда князь Мещерский донес императору о нездоровой атмосфере в Санкт-Петербургском полку, он был отозван, а шефом полка стал генерал-майор Павел Дмитриевич Белуха. Известно о нем мало, но в записках графа Ланжерона сказано, что он «служил во времена князя Потемкина и сделал всю компанию 1768 года в качестве адъютанта графа Румянцева.

<...> В 1797 году Белуха Павел Дмитриевич еще полковником командовал Елисаветградским драгунским Его Королевского Величества принца Карла Баварского полком».

Генерал Белуха оказался в Дорогобуже в самый разгар следствия и арестов – он принял должность 27 июля 1798 года. И пробыл в ней три недели.

Некоторые исследователи «дела Каховского» считают, что назначение Белухи было акцией петербургских «протекторов», направивших его на помощь своим подопечным. Можно принять это предположение или же решить, что воспитанник Румянцева просто повел себя в соответствии со своими представлениями о достойном стиле поведения русского офицера екатерининских времен.

А повел он себя и в самом деле нетривиально.

И тут мы должны обратиться к еще одной ключевой фигуре сюжета – подполковнику Санкт-Петербургского драгунского полка Алексею Энгельгардту, который оказался едва ли не главным сотрудником Линденера в разоблачении «презрителей».

В деле имеется несколько рапортов Энгельгардта Линденеру, относящихся к периоду от начала сентября до конца ноября 1798 года. Но из текстов этих ясно, что разоблачительная деятельность подполковника началась не позднее августа, то есть с самого начала следствия:

«Вследствие полученного мною по секрету ордера от вашего превосходительства сего месяца 3-го числа касательно до нижеследующих обстоятельств, о коих спешу по сущей справедливости сим удостоверить вашего превосходительства, что в бытность вашу в городе Дорогобуже действительно представлял я вашему превосходительству о явных моих подозрениях на господина бывшего шефа генерал-майора Белуху, который, зная о производимом столь важном следствии, касательно даже до Высочайшей Особы Его Императорского Величества, а он дерзал: 1-е, что как только приехал в город Дорогобуж, то тотчас же взял себе на квартиру в свое покровительство людей и лошадей, и весь экипаж и имущество важного подсудимого полковника Кендякова, потом ежедневно начал употреблять как экипаж, так и верховых лошадей и разъезжал на них публично по городу; 2-е, без всякой причины и неуважая даже на особливую атенцию мою к нему, яко к своему начальнику, презирал мною, а равно и всеми по сему делу бывших свидетели; и делал необыкновенное на них гонение и говорил подпоручику Бережецкому у себя в квартире, что-де быть доносчиками и свидетелями есть мерзкое дело <...> и таковые офицеры должны итти у меня вон из полку непременно. А после того и почти подобные слова подтвердил и полковнику Бородину, а также в квартире генерал-майора и кавалера князя Мещерского говорил он, генерал Белуха, подойдя ко мне при капитане Болтине сиими словами: а когда я поссорюсь с Линденером, то увижу, что офицеры тогда скажут, на что я ему не отвечал ни слова; 3-е, сверх того с самого его приезда в Дорогобуж имел он, Белуха, теснейшую связь с господином статским советником Николевым, а как благоугодно было вашему превосходительству дать мне словесное ваше приказание, чтобы я имел самосекретнейшее о поступках его, Николева, по известным важным причинам вашему превосходительству на него подозрение, мое наблюдение: а потому я замечал, что весьма часто, почти всякую ночь он, Белуха, скрытно ездил к реченному Николеву в квартиру и просиживал часу до первого и второго вдвоем, о чем я вашему превосходительству неоднократно докладывал, а также говорил о том его превосходительству князю Мещерскому. <...>

Подполковник *Алексей Энгельгардт*.

Дорогобуж.

1798-го года, сентября 4-го дня».

Таким образом, драгунский подполковник взял на себя не только составление рапортов о состоянии умов в полку, но и слежку за статским советником (в некоторых документах он назван действительным статским советником) Николевым. Своеобразие ситуации заключается в том, что Николев был прислан из Петербурга в качестве ответственного лица, которое должно было вести следствие совместно с Линденером.

Поведение недавнего шефа полка генерал-майора Тараканова, взывания генерал-майора Белухи к офицерскому благородству, попытки Николева установить связь с арестованными «презрителями» и явные симпатии к ним генерал-губернатора Философова свидетельствуют о том, что попытки Павла и верных ему людей жестко контролировать ситуацию в армии столкнулись с откровенным саботажем. И не только на провинциальном уровне.

Рапорт Энгельгардта вкупе с доносом майора Лермонтова дал возможность Линденеру начать активные действия. Энгельгардт неоднократно получал различные розыскные задания от Линденера, но его рапорты теперь посвящены были одному из опаснейших аспектов обвинения – оскорблению величества – и касались событий 1797 года, когда вместо «бутова слуги» генерал-лейтенанта Боборыкина шефом Санкт-Петербургского драгунского полка назначен был генерал-майор Тараканов.

Смене шефа сопутствовали странные обстоятельства, о которых 24 апреля 1797 года Дехтярев, отстраненный от командования полком, писал Каховскому: «Милый шеф новый Т. полку имел странный с собою случай. Боборыкин не хотел ему отдать полку, он послал курьера к Линденеру, и через несколько дней Боборыкин опомнился и вдруг прислал к нему сообщение, что отдает полк. Новый шеф тотчас послал взять знамены и проч. <...> Боборыкин сошел с ума и через четверть часа уехал чорт его знает куда, ругая все что есть святого, даже Бутова!»

Дальше идет весьма значимый пассаж: «Я бы давно уехал к тебе, любезный брат! Но мне нужно дожидаться Линденера, только что он отсюда уедет, то я еду к тебе. Мне ужасно грустно, и так грустно, как никогда еще не бывало, всякий день плачу. Не могу к тебе уехать, нужно для Тараканова еще несколько мне пробыть в полку, чтобы остеречь его от сверчков и клопов и показать честных людей».

Вряд ли генерал-лейтенант Боборыкин вел себя подобным образом по причине вздорного характера. Скорее всего, за этим стояла групповая борьба в Петербурге, борьба за влияние на армию. И внезапное свое смещение с поста Боборыкин воспринял как поражение «своих» в верхах. Задерживая передачу полка, он выяснял обстановку, надеясь на изменение ситуации. Этого не произошло, и этим объясняются его обида на Павла и фрондерское поведение.

Когда драгунский полковник, прошедший турецкие и польские войны, пишет, что он «всякий день плачет», – это не метафора. Открытая эмоциональность была характерной чертой психологической культуры эпохи.

Дехтярев грустил и плакал, разумеется, не оттого, что потерял командование полком. Хотя и это вряд ли его радовало. Весь их круг угнетали новая чужая атмосфера, произвол и гонения на «честных людей». Вскоре он написал Каховскому: «Спасибо, неоцененный друг! что ты навел меня, я называю „навел“, написав ко мне, ей-ей, не могу о сию пору проглотить проезд наших бедных товарищей. Тяжело и очень тяжело. Может, это и в порядке вещей, но я никак еще не привык видеть жареных людей. Все зависит от воображения, со временем стать может, вместо слиоз я буду, привыкнув, насмехаться всему, так как ты по разуму презираешь».

Речь, видимо, идет об очередной партии арестованных офицеров.

Капитан Кряжев в августе того же года писал Каховскому из Смоленска: «Дица Був (Бутов. – Я. Г.) по милосердию своему написал в рядовые без выслуги. Зыбин писал сам <...>

> что его судьба уже решена, все чины с него снимаются, равно и крест, и он прислал за статусом и грамотой. Но досконального решения о сем еще не получено. (Полковник Зыбин, командир гренадерского полка, был заслуженным боевым офицером. Женат он был на родной тетке Ермолова. – Я. Г.)

Слухи есть, что Страхов исключается из службы, а Голубцов жалуется в первый чин, то есть в рядовые. Еще сказывают, что Чертков сам в Шпандау посажен.

Из линденерова полку все наличные штаб- и обер-офицеры, коих 83 человека, идут в отставку, потому что Линденер их считает наравне с гусарами. Они без дела к нему не могут ходить. Если его зовут куда в гости и он думает, что из его штаб- и обер-офицеров кто зван, то он не пойдет. Трактует их пьяницами и прочими ептетами... Шпандау, сказывают, так полон, что места нет, иногда по десяти и по пятнадцати кибиток вдруг привозят.

Идущих в отставку, говорят, всех помещают в подушный оклад, а иные говорят, что они оставлены будут без повышения, без мундира, штатскими чинами и с запрещением въезда в обе столицы.

Армия принца Конде принимается в нашу службу – офицеры с повышением чинов, а рядовые офицерами». Именно это письмо кончалось цитатой из Вольтеровой трагедии: «Ты спишь, Брут, а Рим в оковах!»

У них было ощущение террора, обрушившегося на офицерство. Слухи о предпочтении, которое отдавалось эмигрантам (армия принца Конде) перед русскими офицерами, воспринимались как прямое оскорбление.

Они не привыкли к тому стилю поведения, которое демонстрировали Линденер и другие «бутовы слуги». Нужно было быть Каховским с его принципиально стоической позицией, чтобы «по разуму презирать» происходящее и не впадать в отчаяние. Но стоицизм Каховского отнюдь не примирял его с павловской действительностью.

Надо помнить, что одной из фундаментальных черт их взаимоотношений был культ дружбы, которая из явления бытового превращалась в мощный духовный феномен и определяла их взгляд на происходящее. В том числе на судьбы их товарищей. И потому неудивительно, что их ненависть к императору и его методам управления принимала самоубийственно откровенные формы.

«Поверить можно тем людям, кои равную ненависть претерпевают от слуха, зрения и чувств Бутова сумасшеств», – писал майор Московского гренадерского полка Буланин.

И неудивительно, что у них не хватало инстинкта самосохранения, чтобы удержаться от демонстрации своей ненависти и презрения.

Это и фиксировал в своих рапортах подполковник Энгельгардт:

«Касательно до имени Бутова, что не имею ли какого сведения и не известно ли, кто бы был под сим названием, размышляя об оном, припомнил следующее. В бытность в городе Велиже, штаб-квартире бывшего Санкт-Петербургского драгунского полку, в который приехал шеф, генерал-майор Тараканов, на смену генерал-лейтенанту Боборыкину, привезя с собой шута именем Ерофеича, остановился на одной квартире с выключенным полковником Дехтяревым, с коим он вел приятельство и жили все заодно. А как часто я к нему прихаживал по долгу, яко к своему начальнику, а иногда от них бывал прошен на обед и на вечеринки, то неоднократно случалось мне видеть, что Дехтярев заставлял этого шута вытягиваться и подымать голову выше обыкновенного вверх, надувать щеки и потом маршировать на обе стороны, поворачивать голову и за каждым поворотом так сильно из себя дух, что делало сей отзыв „був!“». А по окончании сего Дехтярев спрашивал у него: как тебя зовут, на что он отвечал: „Бутов, лысая голова“. Потом спрашивал его, где Бутов живет? Ответствовал он: „Далече, в Гатчине“. Кто тебя сему учил? Отзывался: „Александр Каховский“, что они, представя себе весьма смешным и за утешение, а Дехтярев притом с криком говорил ему: „Браво, браво, полтина на водку“, чему всему и прочие его приятели подражали, и все это

было ввиду самого Тараканова, а Дехтярев не только в таких случаях, но и пред всяким тогда, кто только приезживал, даже и посторонним, за первое удовольствие считал заставлять сказанного шута делать таковые гримасы! Сие неминуемо тоже должны были видеть полковник Бороздин, майоры Лермонтов и граф Миних, капитаны Курыш, Полнобоков, Лукашевич 1-ый, поручик Бережецкий, подпоручик Кононов, аудитор Лазарев, адъютант Радимовский и отставной подпоручик Глинка, но я, не вытерпя, призвал того шута в свою квартиру и запретил ему строжайше слушаться Дехтярева; который шут и затем не унялся, то я, обласкавши его, призвал вторично в свою квартиру и велел ему дать двадцать плетей. После того за деньги и за водку никак не соглашался представлять вышесказанного. По слухам же, оный шут находится в Смоленской губернии, Белецкой округе, в доме госпожи Баратынской, то не угодно будет для фундаментального узнания сего прозвания Бутова и прочего, что бы то значило, его сыскать и в том спросить».

На что они рассчитывали, публично издеваясь над императором? Неужели настолько отвыкли от доносительства?

Первый этап следствия был закончен в сентябре. Арестованные отправлены в Петербург в распоряжение генерал-прокурора князя Лопухина и генерал-аудитора князя Шаховского, судимы и приговорены к заключению в крепостях и ссылкам в разные места Сибири.

Далее произошло нечто неожиданное. Линденер получил распоряжение императора прекратить дальнейшее расследование и все бумаги по «дорогобужскому делу» уничтожить. Что и было им с величайшим неудовольствием выполнено.

Вот тут, скорее всего, и сказалось влияние петербургских «протекторов». То ли князь Лопухин, которому Павел доверял, убедил императора, что Линденер слишком усердствует и раздувает дело – генерал-прокурор впоследствии прибегал к этому приему; то ли сам Павел, вняв советам, решил, что расширение круга репрессированных слишком компрометантно.

Но упорный Линденер, выполнив простое указание – уничтожив материалы уже проведенного следствия, на свой страх и риск продолжал расследование. И быстро добился результатов.

7

Ермолов не попал в водоворот первого этапа следствия. Его переписка с товарищами наверняка не ограничивалась тем единственным, уже известным нам письмом Каховскому, что попало позже в руки Линденера. Остальные, по всей вероятности, были в числе тех бумаг, что уничтожили Сомов и Стрелецкий. Поскольку он находился в Несвиже, то не оказался в поле зрения подполковника Энгельгардта.

Но когда Линденер вторично послал в Смолыничи, а затем и в село Котлин, имение полковницы Розенберг, верных ему людей, то обнаружили новые материалы, которые дали ему возможность продолжить следствие. Вот тут-то обнаружили и письмо Ермолова, и упоминания его в письмах других участников «канальского цеха».

Этот обыск принес редкую удачу Линденеру – появились указания на связь смоленских «презрителей» с Зубовым.

13 ноября 1798 года Линденер доложил Павлу, что бумаги «дорогобужского дела» уничтожены, а 24 ноября направил императору новое послание:

«После такового от 13-го ноября открылось, что умышленно скорейшим отвозом Дехтярева в Петербург от предварений его, участниками сожжены в поместье Каховского разные еще бумаги¹³ под полом, в хлебе и в трубе комнатной спрятанные, то же умышленно

¹³ Явная писарская ошибка: бумаги в указанных местах были обнаружены при повторном обыске.

предводителем Сомовым, как Каховского роднею не доставлены были, потому и удалось их участникам разные интриги в Петербурге для уничтожения следствия употребить. Ныне наконец найдены две табакерки с портретами Зубовых и письма, наполненные оскорблениями ВЕЛИЧЕСТВА. Когда нарочно посланным, от него, Линденера, представлен будет от Калуги близ Калужской границы находившийся другой BRUTUS генерала Философова бывший адъютант Кряжев с его бумагами, из коих и допросов обнаружится дальнейшая их шайка. Ниже в Орле, Туле и Литовской границе о совершенном их уничтожением в подлиннике к ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ отправлено будет, то они уже не в большом числе. Генерал-лейтенант Линденер отправил к генерал-лейтенанту Эйлеру в Несвиж естафету арестовать подполковника Ермолова с бумагами и товарищами. И просит повелеть таковые доставить для следствия к нему в Калугу, где неприметно окончив их дело, к высочайшему рассмотрению доставит; арестант же секретно в лейб-каземате, что от города отдалено, до дальнейших повелений находиться будет. Сие осмеливается по той причине испрашивать, что как по делу значит Дорогобужский следствия в Петербурге суждены и обижено правосудие чрез сумнительного Фукса <...>».

Воистину убийственным для Каховского и его товарищей документом стал свод сведений, названный «Потребно к замечанию узнать источники связям с полковым командиром Киндяковым и с другими офицерами, и из которых все известное дело произошло», отправленный в Петербург под грифом «секретно» – как итог дорогобужского расследования. В нем, в частности, был такой абзац:

«На третий день возвращения Дехтярева (из Петербурга. – Я. Г.) все сие скопище недовольных торжествовало день возвращения их товарища, и было пьянство два дня, а на третий день Каховский по показанию Стрелецкого был долгое время в особливой комнате с Дехтяревым и, вышед в комнату, публично читали Цесареву смерть. Сие подает повод думать, что они говорили между собой неудовольствие против ИМПЕРАТОРА и потом злобу свою изъясняли чтением вышесказанной трагедии, что есть весьма утвердительно, потому что в тот же момент по показанию Потемкина Каховский говорил: „Если бы эдак нашего!“ И тогда Потемкин брался за исполнение сего злодейства и просил у Каховского на сие 10 000 рублей. Тогда Каховский, бросаясь к нему на колени в восторге, отдавал ему все свое имение, из чего позволено заключить, что злоба сего в Смоляничих пребывавшего общества против ГОСУДАРЯ есть явна и ничем отречена быть не может, а если нет между ими плана на умысел, то по крайней мере всевозможное желание их к тому весьма ясно, ибо и тогда, когда товарищ их возвратился к ним без малейшего оскорбления, они совещали ГОСУДАРЮ смерть, а сие ясно доказывает, что они злое намерение имели и к произведению его в действо не доставало единого случая, что еще более подтверждает Каховский тем, что он отдавал свое имение Потемкину, из чего видно, что по совершении злодейского намерения, ежели бы оно удалось, он имел надежду на приобретение другого имения, а следственно, он уже имел предмет на таковую надежду, что кажется весьма великия важности и заслуживают строжайшего исследования <...>».

Это был уже умысел на царубийство.

8

Между тем, получив весомые – в виде золотых табакерок с портретами – доказательства связей преступников с кланом Зубовых, Линденер чувствует себя увереннее и расширяет пространство следствия.

24 ноября оказалось пиком деятельности Линденера на втором этапе следствия. В частности, 24 ноября он послал Эйлеру приказание арестовать подполковника Ермолова – на

основании обнаруженного его письма Каховскому и упоминания о нем в письмах членов «канальского цеха».

Именно с этого момента Ермолов начал свои воспоминания, называя себя в третьем лице:

«Всею обязан он единственно милосердию государя. Спрашивая о многих обстоятельствах, относившихся до его брата, но как они совершенно не были известны Ермолову и были даже вымышлены, то ответы его заключались в одних отрицаниях. Генерал Л. призвал к себе офицера, сопровождавшего Ермолова, объявил о дарованной ему свободе и чтобы он возвратился обратно, если Ермолов пожелает возвратиться один. Ласково простясь с Ермоловым, он сказал, что посланному навстречу ему офицеру приказано отдать бумаги Смоленскому коменданту генерал-майору Долгорукову, в случае если еще он не препровожден из Несвижа. Сказал, что между возвращенными бумагами недостает журнала и нескольких чертежей, составленных во время пребывания в австрийской армии в Альпийских горах, которые государь изволит рассматривать. Проезжая обратно через Смоленск, Ермолов получил бумаги, доставленные разъехавшимся, вероятно, в ночное время офицером, и привез в Несвиж данное шефу батальона повеление».

Из этого следует, что у Ермолова заранее был произведен обыск и изъят, в частности, журнал, то есть дневник, итальянского похода с картами, которые в момент допроса уже находились у императора.

При обыске у Ермолова, кроме карт, дневника и выписок из книг, изъяты были три письма Казадаева, по одному письму от Каховского и Дехтярева. Письмо Дехтярева – не то, что было присоединено к письму Каховского и которое мы уже цитировали, а другое, отдельное, – и несколько писем от отца. Но поскольку все эти письма ничего преступного не содержали, то и в обвинении Ермолова не фигурировали.

7 декабря Линденер вынужден был вручить Ермолову следующий документ:

«По секрету.

Милостивый государь мой!

По обстоятельствам дела, вы от ареста и следствия освобождены, почему и извольте отправиться в Несвиж и явиться к г-ну генерал-лейтенанту и кавалеру Эйлеру.

С почтением моим пребуду, милостивый государь мой, покорный слуга *г. л. Ф. Линденер*».

Но обильная добыча, полученная в результате второго обыска в Смольяничихах: письмо самого Ермолова Каховскому, письмо к нему Дехтярева, упоминание в письме Кряжева Каховскому о пересылаемом письме Ермолова обнаружили несомненную включенность подполковника в дела «канальского цеха». Сыграло свою роль и наличие у него «конспиративной» клички.

Вряд ли Ермолову так легко обошлось бы и первое свидание с Линденером, если бы именно в это самое время генерал не получил повеление закрыть «дорогобужское дело» и сжечь все относящиеся до него бумаги.

Однако новые сведения, которые позволили Линденеру заподозрить целый ряд гражданских чиновников Смоленска в связях с уже осужденными преступниками, равно как и нескольких офицеров корпуса генерала Розенберга, стали весомым основанием для возобновления следствия.

И Линденер с прежним рвением принялся за работу...

Ермолов писал: «Прошло не менее двух недель, как исполненный чувств благодарности, прославляющий великодушие монарха, Ермолов, призванный к своему шефу, получает приказание отправиться в Петербург с фельдъегерем, нарочно за ним присланным. Я не был отставлен от службы, не был выключен, ниже арестован, и объявлено, что государь желает меня видеть».

Без затруднения дано мне два дня на приуготовление к дороге: до отъезда не учреждено за мною никакого присмотра; прощаюсь с знакомыми в Несвиже и окрестности и отправляюсь.

В жизни моей нередко улавливал я себя в недостатке предусмотрительности, но в 22 года, при свойствах и воображении от природы пылких, удостоенный всемилостивейшего прощения, вызываемый по желанию государя меня видеть, питавший чувства совершеннейшей преданности, я допускал самые обольщающие мечтания и видел перед собой блистательную будущность! Пред глазами было быстрое возвышение людей неизвестных и даже многих, оправдавших свое ничтожество, и меня увлекли надежды!»

Честно сказать, плохо во все это верится.

Мы помним ермоловское письмо с издевательскими пассажами в отношении Павла – «господина Бутова», его неукротимое презрение к своему начальству – «бутовым слугам», знаем его чувства к Каховскому и другим «старшим братьям». Зная все это, нельзя поверить в искренность деклараций о «чувстве совершеннейшей преданности» тому, кого «старшие братья» высмеивали и не прочь были убить и кто подверг их жестокой каре; поверить этим словам Ермолова – значит счесть его бездушным карьеристом, готовым предать своих друзей и наставников, своего почитаемого брата.

Денис Давыдов со слов своего кузена, что он специально оговаривает, описывает эти события более подробно: «Гроза, разразившаяся над Каховским, не осталась без последствий для Ермолова, которого было приказано арестовать. Отданный под наблюдение поручика Ограновича, он был заперт в своей квартире, причем все окна, обращенные на улицу, были наглухо забиты и к дверям был приставлен караул; одно лишь окно со стороны двора осталось отворенным. Вскоре последовало приказание о том, чтобы отвести Ермолова на суд к Линденеру, проживавшему в Калуге; невзирая на жестокие морозы, Ермолов был посажен с Ограновичем в повозку, на облучке которой сидело двое солдат с обнаженными саблями, и отправлен через Смоленск в Калугу. <...> Между тем прислано было из Петербурга высочайшее повеление о прощении подсудимых, вина которых даже в Петербурге найдена ничтожной. <...> Линденер, будучи в это время нездоров, приказал привести к себе в спальню Ермолова, которому было здесь объявлено высочайшее прощение. Линденер почел, однако, нужным сделать строгий выговор Ермолову, которого вся вина заключалась лишь в близком родстве с Каховским; заметив удивление на лице Ермолова, Линденер присовокупил: „Хотя видно, что ты многого не знаешь, но советую тебе отслужить перед отъездом молебен о здравии благодетеля твоего – нашего славного государя“. Приняв во внимание советы многих, утверждающих, что если им не будет отслужен молебен, то он вновь неминуемо подвергнется новым преследованиям, Ермолов, исполнив против воли приказание Линденера, отправился с Ограновичем в обратный путь».

Картина существенно отличается от представленной в воспоминаниях. Горький опыт всю последующую жизнь заставлял Ермолова не доверять тому, что положено на бумагу. Бумаги могли быть в любой момент изъяты и сделаны поводом для обвинения.

Рассказ Ермолова Давыдову куда более похож на правду, чем написанные воспоминания. Если бы не было записи Давыдова, то многое в воспоминаниях вызывало бы недоумение. Если, по утверждению Ермолова, он ничего не знал о деятельности старшего брата и ни в чем не был замешан, то при чем тут «милосердие государя», «всемилоостивейшее прощение»? Воспроизведенная Ермоловым фраза Линденера («Ты многого не знаешь»), возможно, далеко не бессмысленна. Очевидная близость его со старшим братом, в имении которого он некоторое время жил, даже при отсутствии прямых улик, в той ситуации могла быть достаточным основанием для исключения из службы как минимум. Возможно, Линденеру было известно о вмешательстве в судьбу подполковника неких персон в столице, смягчив-

ших императора и вызвавших у него интерес к молодому офицеру. В противном случае сама фамилия подозреваемого должна была спровоцировать раздражение Павла.

Последующие события подтверждают эту особенность ситуации вокруг Ермолова.

Выстраивая мифологизированную картину, Ермолов преследовал ясную цель – оставить потомкам куда более благополучный вариант событий своей молодости, чем были они в реальности.

Образ смутьяна, дерзко фрондирующего против власти и получившего по заслугам, его категорически не устраивал. Поэтому в воспоминаниях он настаивает на том, что все происшедшее было недоразумением.

Он желал остаться в исторической памяти фигурой цельной, героической – и в то же время несправедливо гонимой, что придавало его судьбе особый колорит.

Это характерное для мемуаристов заблуждение. Людям представляется, что являющие реальные жизненные обстоятельства документы вечно будут храниться в пыли и мраке архивов. Если сохранятся вообще. На этом заблуждении и строятся автобиографические мифы.

Алексей Петрович этого заблуждения также не избежал.

То, что происходило с ним в ноябре 1798 – январе 1799 года, было куда драматичнее и интереснее, чем предложенная им самим картина.

В комплексе документов, относящихся ко второму аресту Ермолова, доставлению его в Петербург, не все логично и ясно. Но в целом ход событий понятен.

В частности, понятно, почему Ермолов не остался в Калуге в качестве жертвы Линденеровой инквизиции и почему следствие, несмотря на обилие новых материалов, захлебнулось.

В дело решительно вмешались «сильные персоны», а нетерпеливому, мятущемуся императору явно надоело разбираться в потоке бумаг, поступающих от Линденера, и он полностью перепоручил дело генерал-прокурору князю Лопухину.

А Лопухин повел себя и тонко, и решительно.

17 января 1799 года, после доклада Павлу, он оформил результат доклада в следующем документе: «Генерал-лейтенант Линденер по Высочайшему Вашего Императорского Величества повелению уничтожа дело по доносу генерал-майора Шепелева и подполковника Энгельгардта на 31 человек, и уведомляя меня о том, упомянул, что хотя после того открылись важнейшие обстоятельства, но арестанты от дальнейшего изыскания освобождены. (Речь идет о том моменте, когда был арестован и сразу же освобожден Ермолов. – Я. Г.) На всеподданнейший от меня доклад Вашему Величеству благоугодно было приказать истребовать от него сведения, какие еще открылись важнейшие обстоятельства и в чем именно они состоят».

Перечислив уже известные соображения Линденера в несколько ироничном тоне: «генерал-лейтенант Линденер гадательно себя вопрошает» и так далее, Лопухин завершает изложение своего доклада вполне издевательски:

«Наконец заключает (Линденер. – Я. Г.), что вся важность дела сего состоит в том, что буде Каховский и прочие останутся удаленными и обезоруженными, то опасность вовсе минуется».

Понятно, что по поводу такой «важности» Павел мог только пожать плечами.

Заканчивает Лопухин и вовсе уничижительно для Линденера: «Что касается до подражателей Каховского и прочих, то генерал-лейтенант Линденер по доставленным оригинальным письмам почитает, кажется, всех тех, с кем они по знакомству переписывались о разных обыкновенных делах и случайных. Число же, составляющее их шайку, уповательно объявлено потому, что в Смоленске под следствием было и с лишком».

Линденеру пришлось смириться с тем, что Ермолов и Кряжев были изъяты из его юрисдикции и отправлены к «сомнительным» следователям в столицу. В результате капи-

тан Кряжев, несмотря на данные им убийственные для Каховского и Дехтярева показания, изобличающие их в замыслах царевубийства, был отправлен в дальний монастырь в качестве вечного узника.

Судьба Ермолова при таком повороте событий сложилась иначе. После решения Павла по докладу Лопухина начался классический бюрократический процесс по вполне элементарному поводу – доставки Ермолова в Петербург.

9

Создается впечатление, что Лопухин стремился как можно скорее вырвать Ермолова из цепких рук Линденера, не допустив глубокого исследования связей подполковника с Каховским и «канальским цехом» вообще.

Дальнейшие события это предположение подтверждают.

Ермолов в воспоминаниях рассказывает: «В Петербурге привезли меня прямо в дом генерал-губернатора Петра Васильевича Лопухина (Лопухин был генерал-прокурором. – Я. Г.). Долго расспрашиваемый в его канцелярии фельдъегерь получил приказание отвезти меня к начальнику тайной канцелярии. Оттуда препроводили меня в С.-Петербургскую крепость и в Алексеевском равелине посадили в каземат. В продолжение двухмесячного там пребывания один раз требован я был генерал-прокурором; взяты от меня объяснения начальником тайной экспедиции, в котором неожиданно встретил я г. Макарова, благороднейшего и великодушного человека, который, служа при графе Самойлове, знал меня в моей юности, и, наконец, его адъютантом».

Все замыкается на том же круге лиц. Вряд ли случайно Лопухин с такой настойчивостью требовал Ермолова в столицу, где начальником Тайной канцелярии был человек, близкий к графу Самойлову.

«Ему (Макарову. – Я. Г.) известно было о дарованном мне прощении, о взятии же меня в другой раз он только что узнал, что по приказанию государя отправлен был дежурный во дворец фельдъегерь и причина отсутствия его покрыта тайною».

Неосведомленность Макарова, непосредственно подчиненного Лопухину, сомнительна. «Дорогобужское дело» было громким. Финальное расследование производилось именно в Тайной канцелярии под надзором генерал-прокурора, и калужское продолжение дела, столь близко известное Лопухину, вряд ли прошло мимо Макарова.

«Объяснения мои изложил я на бумаге; их поправил Макаров, конечно не прельщенный слогом моим, которого не смягчало чувство правоты, несправедливого преследования и заточения в каземате. Я переписал их и возвратился в прежнее место».

Здесь опять-таки сработал уже упомянутый синдром неверия в сохранность и обнаружение документов. Далее Алексей Петрович со свойственной ему выразительностью рисует мрачную картину своего пребывания в каземате: «Из убийственной тюрьмы я с радостью готов был в Сибирь. В равелине ничего не происходит подобного описываемым ужасом инквизиции, но, конечно, многое заимствовано из сего благодетельного и человеколюбивого установления. Спокойствие ограждается могильною тишиною, совершенным безмолвием двух недремлющих сторожей, почти неразлучных. Охранение здоровья заключается в постоянной заботливости не обременять желудка ни лакомством пищи, ни излишним его количеством. Жилища освещаются неугасимою сальною свечою, опущенною в жестяную с водою трубкою. Различный бой барабана при утренней и вечерней заре служит исчислением времени; но когда бывает он недовольно внятным, проверка производится в коридоре, который освещен дневным светом и солнцем, не знакомыми в преисподней».

Это, безусловно, было написано человеком, побывавшим в рavelине и прочувствовавшим убийственные подробности существования узника. Выдумать все это или описать с чужих слов – невозможно.

Непосредственность и силу впечатления от пребывания Алексея Петровича в каземате подтверждает и позднейший рассказ его Денису Давыдову: «Ермолова повезли на время в Петропавловскую крепость, где заперли в каземат, находящийся под водою в Алексеевском рavelине. Комната, в которую он был заключен под именем преступника № 9, имела шесть шагов в поперечнике и печку, издававшую сильный смрад во время топки; комната эта освещалась одним сальным огарком, которого треск, вследствие большой сырости, громко раздавался, и стены ее от действия сильных морозов были покрыты плесенью. Наблюдение за заключенным было поручено Сенатского полка штабс-капитану Иглину и двум часовым, неотлучно находившимся в комнате».

Приведенные подробности делают рассказ абсолютно правдоподобным. Вопрос только в том – сколько же времени он там пробыл.

Когда речь идет о корректировке Ермоловым реальных событий, выстраивании того, что называется автобиографическим мифом, не надо воспринимать это как обвинение в преднамеренном обмане потомков и современников. Надо учитывать отношение к жанру мемуаров у людей того типа, к которому принадлежал Ермолов. С подобным явлением мы, например, часто встречаемся в мемуарах декабристов.

Задача мемуаристов этого типа – не воспроизвести буквально ход событий в его бытовой достоверности, но представить читателю модель судьбы человека, сознающего себя лицом историческим, выявить существо процесса, сформировавшего такую личность.

Вопрос о грани, отделяющей мемуары в точном смысле от художественно обработанной и выстроенной истории, – весьма непростой вопрос, особенно по отношению к людям XVIII – первой четверти XIX века.

Мемуары во все времена требуют осторожного и критического подхода, но нужно отличать корыстный обман от высокой задачи поучительного моделирования истории, создания новой реальности, отвечающей представлениям мемуариста о том, как должна была выглядеть эта реальность.

Судя по приведенной выше переписке официальных лиц, уже 18 декабря Ермолов сидел под «крепким караулом». Маловероятно, чтобы Эйлер столь дерзко обманывал высокое начальство и позволял возможному преступнику находиться безо всякого присмотра.

Далее из рапорта Эйлера следует, что, получив в семь часов вечера 31 декабря предписание отправить арестанта в столицу, он выполнил это немедленно. Для того чтобы по указанию Лопухина дать арестанту возможность соответственно одеться и взять с собой белье, много времени не понадобилось.

Стало быть, «два дня на приуготовление к дороге» вызывают сомнения.

Лопухин отправил курьера к Эйлеру из Петербурга в Несвиж 26 декабря. Эйлер получил предписание вечером 31 декабря. Если он – по его утверждению – тут же отправил Ермолова с курьером, то они должны были прибыть в столицу через те же четыре дня на пятый, то есть не позднее 5 января. Хотя возможно, что Лопухин, написавший письмо Эйлеру, отправил курьера не сразу. Тогда все сроки сокращаются, но не более чем на один-два дня.

Вскоре по приезде Ермолов был заключен в каземат, допрошен расположенным к нему Макаровым. В результате этого стремительного следствия Алексею Петровичу инкриминировано было только его письмо Каховскому.

7 января Лопухин докладывал императору дело Ермолова, скорее всего не обременяя Павла ни текстом письма, ни вполне пронизательными комментариями к нему Линденера.

Доклад состоял в следующем: «Генерал-лейтенант Линденер, отыскав в деревне Каховского бумаги и в числе их к Каховскому письмо артиллерийского Эйлера батальона

от подполковника Ермолова с дерзновенными выражениями, представил с оных к Вашему Императорскому Величеству копии, а Ермолова от команды требовал к следствию в Калугу. Вашему Величеству по тем бумагам благоугодно было предписать генерал-лейтенанту Линденеру дело сие уничтожить, что он, исполня, донес Вашему Величеству и меня уведомил. Между тем Ермолов, по первому его требованию, отправлен в Калугу, где уничтожением дела, получив свободу, отпущен был к должности. А как об отправлении его туда Ваше Императорское Величество изволили получить от генерал-лейтенанта Эйлера донесение, то по сему высочайше мне повелели того Ермолова от Линденера взять сюда; вследствие чего он ныне от Эйлера паки арестован и прислан сюда. Здесь в учиненной им дерзости раскаиваясь с сокрушением сердца, объявляет, что писал письмо к брату своему Каховскому 1797-го года в мае месяце без всякого, впрочем, основания, единственно по безрассудной молодости и ветрености. И как от Линденера уничтожением дела объявлено ему уже Высочайшее Вашего Императорского Величества прощение, то всеподданнейше и теперь просит продолжать дарованное милосердие.

Представя на благоусмотрение Вашего Императорского Величества объяснение Ермолова, испрашиваю дальнейшего о нем повеления».

Письмо, представленное императору, мало напоминает послание, написанное «слогом <...> которого не смягчило чувство правоты, несправедливого преследования и заточения в каземате». Это конечно же вариант опытного Макарова.

«По спросу о письме на имя брата моего Каховского в 1797-м году в мае покорно объясняю, что оное точно писал я и признаю произведением безрассудной моей дерзости и минутного на то время отсутствия разума, повергнувшего меня в таковое преступление, кое выше всякого снисхождения и нет жестокого наказания, коего бы я не заслужил и не почитал справедливым. Но, с другой стороны, смею донести, что сие письмо одно только есть, какое писал я к моему брату и кое с деяниями моими по службе не имело никакого сходства, ибо оную всегда выполнял со всевозможным усердием и рвением и начальству повиновался беспрекословно, в чем смею на всех моих начальников сослаться. В следствие сообщения генерал-лейтенанта Линденера к шефу моему, господину Эйлеру, по Высочайшему Его Императорского Величества повелению был я арестован и бумаги мои без изъятия все по строгом обычае взяты, в коих ничего противного и дерзкого не найдено, что все подтверждает истину мною вышесказанного, что переписки с братом я уже не имел и преступления брата моего от меня совершенно сокровенны. По милосердию Его Императорского Величества Всемиловейшее и без сомнения по презрению оной глупости моей объявлено было мне Всемиловейшее прощение и отправлен был к должности моей, но в Несвиже паки шефом господином Эйлером арестован и прислан сюда. Я не могу вновь никакого открытия сделать, как повторить мою вышесказанную вину и всеподданнейше прошу продолжить дарование Высочайшего милосердия, обещаю заслужить оное ревностью к службе, в которой жертвовать всегда готов жизнью.

От артиллерии подполковника и кавалера Ермолова».

Денис Давыдов предлагает свою, надо полагать – со слов Ермолова, версию: «По совету Макарова Ермолов написал на имя государя письмо, которое, будучи сообщено исправлено, было им переписано начисто. Хотя оно было несколько раз прочитано и по возможности исправлено, но от внимания сочинителя и читателей ускользнуло одно выражение, которое, возбудив гнев Павла, имело для Ермолова самые плачевные последствия. В начале письма находилось следующее: „Чем мог я заслужить гнев моего государя?“ Прочитав письмо, государь приказал вновь заключить Ермолова в Алексеевский равелин, где он уже оставался около трех месяцев».

Но подобной фразы в письме нет: оно выдержано в классическом покаянном стиле тех времен. Однако Ермолову, как и следовавшему за ним Давыдову, важно было воссоздать тот

образ молодого героя, который соответствовал бы общим представлениям о зрелом Ермолове, строптивом и высокомерном прославленном генерале, никому не позволявшем посягать на свое достоинство...

По свидетельствам Ермолова и Давыдова получается, что Ермолов провел в Алексеевском равелине около четырех месяцев – три недели до допроса и три месяца после доклада Лопухина Павлу.

Между тем имеется документ, который принципиально меняет картину.

Это указание императора генерал-прокурору:

«Господин действительный тайный советник и генерал-прокурор Лопухин. Артиллерии Эйлера баталиона подполковника Ермолова за дерзновенные в письмах выражения повелеваю, исключая из службы, отослать на вечное житье в Кострому и предписав тамошнему губернатору, чтобы имел за поведением его наистрожайшее наблюдение.

Пребываем вам благосклонны.

На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества рукою тако:

Павел.

Генваря 8 дня 1799 года в С.п. бургге».

Павел решил судьбу Ермолова на следующий день после доклада Лопухина, который, судя по явной проермоловской направленности доклада, рассчитывал на иной результат.

Очевидно, генерал-прокурор каким-то образом отсек императора от аналитических примечаний Линденера к ермоловскому письму, между тем комментарии Линденера были достаточно выразительны: «Дерзкая критика к оскорблению Величества, возмущая при этом к нарушению спокойствия и тишины»; «Наименование Бутова тож значит, что и выше явствует к оскорблению Величества». И так далее.

И далее – известный уже нам вывод: «Сей Ермолов артиллерии подполковник, имевший с Каховским родство и особливую в презрительных делах связь».

Его организационная принадлежность к «канальскому цеху» явно подтверждалась наличием «конспиративной» клички – Еропкин. Останься Ермолов в руках Линденера, дело вряд ли обошлось бы ссылкой в уютную Кострому. Но в связи с этим комплексом документов встает вопрос – сколько же времени провел Ермолов в каземате?

В начале января он доставлен в Петербург. 8 января Павел определил его судьбу. В тот же день Лопухин пишет костромскому губернатору Кочетову:

«Милостивый государь мой Николай Иванович!

Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил подполковника Ермолова за известное Его Императорскому Величеству преступление, исключая из службы, отослать на вечное житье в Кострому, где за его поведением чинить наистрожайшее наблюдение. Сообщая вашему превосходительству к неперемennomу и неукоснительному со стороны вашей исполнению объявленного Высочайшего повеления, препровождаю при сем означенного Ермолова, с тем, чтобы за перепискою его иметь смотрение и меня о том ежемесячно уведомлять».

Ермолов был отправлен в тот же или на следующий день – реакция Кочетова была скорой:

«Секретно.

Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь Петр Васильевич!

Сего числа имел я честь получить с сенатским курьером секретное предписание Вашего Высокопревосходительства от 8-го генваря, при котором прислан по Его Высочайшему Императорского Величества соизволению исключенный из службы за известное Его Величеству преступление подполковник Ермолов в здешний город на вечное житье; и вследствие Высокомонаршей воли изображенной в предписании Вашего Высокопревосходительства долгом себе поставлю чинить точное и неупустительное исполнение и уведомлять каж-

домесячно Ваше Высокопревосходительство о пребывании помянутого Ермолова. О чем донеся, пребуду всегда с истинным высокопочитанием и совершенною преданностью

Вашего Высокопревосходительства Милостивого Государя всепокорный слуга
Николай Кочетов.

Генваря 12 дня 1799 года в Костроме».

Стало быть, Ермолов пробыл в Петербурге меньше недели и 12-го числа был уже в Костроме.

Времени на «без малого четырехмесячное сидение в рavelине» категорически не остается.

Все было: и мрачный промозглый сумрак каземата, и чадающая свеча, и дымящая угарная печь, и гробовое молчание мира вокруг, и ужас перед возможностью провести в этом страшном пространстве годы и годы...

Все это секретный арестант испытал за несколько дней. И на впечатлительную натуру молодого Ермолова, ошеломленного ужасающим поворотом судьбы, эти несколько дней произвели незабываемо тяжкое впечатление.

Он на всю жизнь понял, что может грозить строптивцу, если он перешагнет некую черту...

Судя по мучительной подробности описания каземата, сделанного через много лет, этот дремлющий ужас был с ним всегда.

Остальное было все тем же автобиографическим мифом, призванным трагически укрупнить события.

В двух направлениях Ермолов-мемуарист модифицировал реальность. Во-первых, как уже говорилось, он старался изобразить горькую для него реальность более благостной и по отношению к нему уважительной, а во-вторых, хотел все же предстать перед потомками и поздними современниками рыцарем, отстаивающим свое достоинство, невинной, но гордой жертвой павловской тирании.

10

Ермолов вспоминал:

«По прибытии в Кострому мне объявлено назначение вечного пребывания в губернии по известному собственно государю императору преступлению. По счастью моему при губернаторе находился сын его, с которым в молодости моей учились мы вместе. По убеждению его он донес генерал-прокурору, что находит нужным оставить меня под собственным надзором для строжайшего наблюдения за моим поведением, и мне назначено было жить в Костроме».

Здесь мы сталкиваемся с очередной странностью. С одной стороны, Алексей Петрович уснащает свой рассказ вполне правдоподобными подробностями о вмешательстве бывшего соученика, губернаторского сына, с другой – в имеющихся документах версия ссылки в губернию подтверждения не находит. Приказ Павла о ссылке именно в Кострому – недвусмысленен. Отношение губернатора Кочетова к генерал-прокурору подтверждает: Ермолов прислан был для «вечного жития» в Костроме. И никакого послания к генерал-прокурору, о котором говорит Ермолов, в деле нет.

Ермолов лаконично, но вполне содержательно описал свою жизнь в Костроме:

«Некоторое время жил я в доме губернского прокурора Новикова, человека отлично доброго и благороднейших свойств, и вскоре вместе войска Донского с генерал-майором Платовым, впоследствии знаменитым войсковым атаманом, которому по воле императора назначена так же Кострома местопребыванием. Полтора года продолжалось мое пребывание; жители города оказывали мне великодушное расположение, не находя в свойствах моих,

ни в образе поведения ничего обнаруживающего преступника. Я возвратился к изучению латинского языка, упражнялся в переводе лучших авторов, и время протекло почти неприметно, почти не омрачая веселости моей».

Относительно веселости, конечно, можно и усомниться. Прозабание в Костроме могло стать если не вечным, то многолетним.

Что до изучения латыни, то это важнейший психологический момент.

Ермолов всецело принадлежал к культуре, ориентированной на античные образцы. В его детстве это был Плутарх; можно смело предположить, что в жизнеописаниях Плутарха его более всего влекли истории удачливых полководцев. Денис Давыдов свидетельствует:

«Ермолов, воспользовавшись своим заточением, приобрел большие сведения в военных и исторических науках: он также выучился весьма основательно латинскому языку у соборного протоиерея и ключаря Егора Арсеньевича Груздева, которого будил ежедневно рано словами: „Пора, батюшка, вставать: Тит Ливий нас давно уже ждет“».

Через некоторое время он мог читать в подлиннике Тита Ливия, Тацита и Юлия Цезаря.

Литература на латыни, которую мог читать и переводить Ермолов, была обширна. Но он выбирает именно этих авторов. И вполне понятно почему.

Но прежде чем рассмотреть отношения его с античными авторами, надо представить себе его действительное настроение.

Он остался один. «Старшие братья» и общие их друзья по «канальскому цеху» были в крепостях и сибирских ссылках. Многочисленные приятели прекратили с ним отношения, опасаясь компрометации.

Верен ему оказался только Казадаев, письма к которому и дают нам картину, адекватную реальности. Как выяснилось в этот трагический момент, его клятвы в вечной дружбе не были пустой риторикой.

Как только возобновилась переписка между ними, Алексей Петрович счел необходимым представить другу свой вариант происшедшего.

Письма Ермолова своему другу из Костромы тщательно хранились в семье Казадаевых и уже в конце XIX века сын Александра Васильевича передал их Николаю Дубровину, когда тот писал краткую биографию Ермолова докавказского периода. Дубровин использовал несколько фрагментов. Теперь письма хранятся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки¹⁴.

«Любезнейший друг Александр Васильевич!

Долгое молчание мое, думаю я, заставило тебя заглянуть в приказы, дабы усмотреть, не случилось ли со мной чего неприятного? Итак, я полагаю, что ты извещен, что я исключен из службы. Так, любезнейший друг, пал жребий судьбы на меня, и в моей воле осталось лишь терпеливо сносить ее жестокость. Я тебе скажу причину несчастья моего: ты знал брата моего, он впал в какое-то преступление, трудно верить мне, как брату его, но я самим Богом свидетельствую, что о преступлении его мне неизвестно. Бумаги его были взяты и в том числе найдено и мое одно письмо, два года назад писанное, признаюсь, что мерзкое несколько, но злоумышления и коварства в себе не скрывающее. Я был взят к ответу в Калугу к генералу Линденеру, и пока ехал я туда или, лучше сказать, везли меня туда, был я уже в продолжение того времени прощен и Линденером возвращена была мне шпага и объявлено Всемиловитейшее Государя прощение. Итак, я обратно прибыл к батальону, питая в душе моей чистейшие чувства благодарности к нашему Монарху. Но недолго, любезный друг, был я счастлив. В другой раз за мною прислан курьер и я отправился в Петербург, однако же имея добрую надежду, ибо я ни арестован, ни выключен не был и льстился счастьем быть представлен Государю. Не таковы были следствия моей надежды, я вместо быть представлен

¹⁴ ОР РНБ. Ф. 325. Оп. Отчет Публичной библиотеки за 1893 г. § 14.

Государю посажен был в Петропавловскую крепость, а оттуда препровожден в Кострому, где полгода живу».

И дальше начинается собственно деловая, так сказать, часть письма:

«Нет, любезнейший Александр Васильевич, покровителей, которые бы могли облегчить мою участь, все средства вдруг пресеклись с моим благополучием, всему для меня конец, отдален от родных моих, лишился брата, коего не только участь для меня сокрыта, но самое место пребывания его неизвестно.

Любезнейший друг, ты столь хорошо был ко мне расположен, писал ко мне в Польшу, чтобы я назначил, чем одолжить меня. Вот случай не только одолжить меня, но и счастье мое составить. Ты средства делать добро не лишен, имеешь добрую душу, некогда называл меня своим приятелем, теперь уже состояния наши весьма разные, тем великодушнее будет с твоей стороны помочь мне в моем несчастье. Приведи на память те старания, которые употреблял я, чтобы оказать тебе мои услуги, то расположение, которым тщился доказать мою приверженность, но все сие не может сравниться с тем, что ты в состоянии мне сделать. Я жду возможного. Если и в сем случае я столько несчастлив, что по средствам твоим ничего получить невозможно сделать, по крайней мере через подателя сего Ивана Николаевича г-на Назарова, моего хорошего приятеля, сделай милость – отвечай мне. Ты же в состоянии вообразить себе, какое мне доставит сие удовольствие, тем еще более, что все меня оставили, к кому ни пишу, никто не отвечает. Вот, любезный друг, состояние человека, некогда бывшего счастливым. Теперь и само здоровье от чрезвычайной скорби ослабевает, исчезают способности, существование меня отягощает, лишь обязанность к родным моим обращает меня к должности христианина. Живу я здесь совершенно как монах, отдален от общества, питаю скорбь мою в уединении, о упражнениях скажет тебе подробно приятель мой.

Вот, любезнейший друг, краткое начертание моего положения. Долго было бы описывать подробности для чувствительности твоей поразительные.

Впрочем, пожелаю тебе от чистого сердца всевозможных благ, пребуду навсегда с неперменною и совершеннейшею приверженностию.

Покорный слуга *Алексей Ермолов*.

1799 года 9-го июля, Кострома».

Разумеется, можно предположить, что, желая внушить другу ясное представление об ужасном положении и настроении своем (намек на тягу к самоубийству), Ермолов значительно повысил градус своего отчаяния по сравнению с реальностью. В конце концов, он не сидел в крепостном каземате, как Каховский и Бухаров, не прозябал в бесконечно далеком суровом Тобольске, как другие «старшие братья». Он жил в уютной Костроме, ничем не регламентированный в своих занятиях. Он сам писал потом, что «жители города оказывали мне великодушное расположение»; большую часть ссылки он жил вместе с Платовым, с которым сдружился, к нему расположен был губернатор, у него, как мы видим из писем Казадаеву, появились новые приятели, которым он доверял.

Вариант ссылки, казалось бы, вполне щадящий.

Но мы должны понимать, с кем имеем дело. То, что другому представлялось бы приемлемым, Ермолова вполне могло ввергнуть в отчаяние.

Надо помнить генеральную, с юности, жизненную установку нашего героя: «вперед и выше».

По его собственному утверждению, в данном случае вполне основательному, его тяжело угнетало ощущение упущенных возможностей. Мечты о славе и великих свершениях, которые еще недавно были основным содержанием его внутренней жизни, теперь становились вполне беспочвенными. «Судьба, не благоприятствующая мне, – писал он в воспоминаниях, – возбуждала сетования мои в одном только случае – когда вспоминал я, что батальон артиллерийский, к которому я принадлежал, находился в Италии, в армии, предводимой

славным Суворовым, что товарищи мои участвуют в незабвенных подвигах непобедимой нашей армии. В чине подполковника был я в царствование Екатерины, имел орден св. Георгия и св. Владимира. Многим Суворов открыл быструю карьеру: неужели бы укрылись бы от него добрая воля, кипящая пламенная решимость, не знавшая тогда опасностей?»

Формула «на вечное житье» могла оказаться формулой его судьбы. В 1799 году вряд ли кто рассчитывал на скорое окончание павловской эры. Каждый упущенный год отдалял его от великой цели. Другие совершали подвиги, получали ордена и чины, а он оставался далеко позади, понимая, что наверстать упущенное может оказаться невозможным, даже если житье в Костроме окажется не вечным, но длительным.

Он писал чистую правду, утверждая, что наиболее мучительным для него был именно военный фон его костромского сидения. Он следил по газетам, которые исправно приходили в Кострому, за международными событиями. А кроме суворовских побед в Италии и тяжкого, но героического отступления из Швейцарии – знаменитый переход через Альпы, генерал Бонапарт, еще недавно артиллерийский лейтенант, завоевывал Египет...

Многие вчерашние друзья и приятели Ермолова и в самом деле сочли за благо не компрометировать себя перепиской с опальным. Но кроме верного Казадаева через полтора года после прибытия в Кострому у него появился и еще один корреспондент – тот самый его сослуживец поручик Огранович, который сопровождал его в Калугу после первого ареста. Причина длительного молчания Ограновича была вполне уважительна – он участвовал в Итальянском походе Суворова.

Ермолов писал:

«Любезный друг Иван Григорьевич!

Не в состоянии изобразить я тебе, какое удовольствие доставило мне письмо твое, но только смею уверить, что чувства благодарности с моей стороны были соразмерны оному. И не усомнись, в полной цене принимаю сие одолжение, радуясь при том, что ты окончил поход столь трудный благополучно. Весьма лестно быть участником тех побед, которые навсегда принесут вам много чести, доставя сверх того опытность, нужную достойным офицерам, каковы все те, коим некогда имел я счастье быть сотоварищем. Не думай, чтоб лесть извлекала сии приветствия, но верь, что они истинные чувства того, кто за счастье поставляет иметь многих из вас приятелями.

Я, благодаря Всевышнего, живу спокойно, уединенно; счастлив тем, что и здесь многие обо мне хорошо разумеют. Время хотя и медленно течет для несчастных, но разными упражнениями я сколь возможно его сокращаю; может быть сие и не долго продлится, ибо в милостях государя отчаиваться неблагоразумно, когда многие видим тому примеры».

Следующий абзац свидетельствует, что к этому времени эпистолярные связи костромского узника несколько расширились:

«Письмо, при сем приложенное, отдай Железнякову, но прежде прочти его и несколько посмеешься; а то он, стыдясь его, не покажет, и все мои поклоны пропадут даром. Прощай, любезный друг, и помни покорного слугу *Ал. Ермолова*.

24 мая 1800 г. Кострома.

Р. С. Спешневу, Смагину и Бегунову поклонись!»

Дело не в том, что письмо это было написано через год после приведенного выше письма Казадаеву и Ермолов втянулся в костромскую жизнь. Дело в адресате. Шуточное письмо некоему Железнякову свидетельствует, что Алексей Петрович и в самом деле не утратил в ссылке «веселости» своей. Ограновичу и бывшим сослуживцам по артиллерийскому батальону он мог ее демонстрировать.

Однако две вещи его мучили: предательство многих вчерашних товарищей и, самое важное, невозможность участвовать в войне.

11 июля, в ответ на письмо Ограновича, он сетовал: «Теперешние обстоятельства дают мне случай вернейшим образом испытать друзей моих и тех, которые меня помнят». У него, стало быть, немало было друзей и вне «канальского цеха», кроме «старших братьев»; «Но не лестью побуждаем, скажу тебе, что не все таковы как ты, и те самые, на дружбу которых более имел я права, меня чуждаются».

Огранович не был особенно близок к Ермолову в благополучные времена, но у него, очевидно, было чувство вины перед сослуживцем, которого он вынужден был возить как арестанта.

Кроме болезненной темы предательства друзей – а это сыграло не последнюю роль в том, что Ермолов сделался мнителен и недоверчив к людям, – он постоянно возвращается к еще более болезненному для него мотиву упущенной славы. «Напиши, любезный друг, – просит он Ограновича, – как ты поживаешь и что-нибудь слегка о твоём походе, как ты прежде и обещал. Ты чувствительно одолжишь меня. Я до сих пор не мог отучить себя, чтобы не с жадностью желать что-нибудь узнать о сослуживцах моих. Когда вы были в походе, всяких газет листы перебрасывал я с нетерпением, чтобы с кем-нибудь из вас повстречаться, и часто, прочитывая подвиги наших героев, то есть моих сослуживцев, воспламенялась кровь покоящегося воина. Что делать! Желал бы и я, разделив труды ваши, участвовать в славе вашей, но нет возможности и все пути преграждены. Прощай, любезный друг, и помни того, который тебя никогда забыть не в состоянии».

Эта невозможность самореализации в войне, естественном для него состоянии, эта тоска по упущенным возможностям должны были сделать еще более концентрированной и напряженной его мечту о прорыве к великим делам.

Имея в виду это обстоятельство, возвратимся к письмам Ермолова Казадаеву, документу фундаментальной важности.

11

Буквальное совпадение ключевых фраз письма от 9 июля 1799 года с текстом позднейших воспоминаний говорит о том, что Ермолов с самого начала выработал тот вариант случившегося, которым он хотел заменить реальную ситуацию.

Разумеется, Ермолов хотел представить себя стоически переносившим удары судьбы. Но если в воспоминаниях он говорил о том, что в ссылке сохранил свою «веселость», то Казадаеву пишет: «Теперь и самое здоровье мое, от чрезмерной скорби, ослабевает; исчезают способности, существование меня отягощает, лишь обязанность к родным моим обращает меня к должности христианина. Живу я здесь совершенно как монах, отдален от общества, питаю скорбь мою в уединении».

Между сохраненной несмотря ни на что «веселостью» и мыслями о самоубийстве, на что намекает в этом пассаже Алексей Петрович, и лежит истина.

Обратим внимание на два места в письмах Казадаеву и Ограновичу: «О упражнениях скажет тебе подробно приятель мой» и «Время хотя и медленно течет для несчастных, но разными упражнениями я сколь возможно его сокращаю».

В отрочестве воспитавший себя на Плутархе во французском переводе, теперь он принялся за изучение латыни, чтобы читать в подлиннике великих римлян.

Ему необходимы были духовная опора и знание, которое несмотря ни на что помогало выработать стратегию будущей жизнедеятельности.

Изучение античных авторов явилось в какой-то степени альтернативой действию, анестезией, ослабляющей тоску по действию.

Главным для него, несомненно, был Цезарь, – с его целеустремленностью, полководческим искусством и грандиозностью поставленных перед собой целей.

«Записки о галльской войне» не могли не напоминать Ермолову Персидский поход. И там, и там храбрости и многочисленности варваров, каковыми русские офицеры считали персов и их кавказских союзников, были противопоставлены выучка, дисциплина и несокрушимый боевой дух легионов цивилизованного мира.

Трудно сказать, когда родилась у Ермолова мечта о службе на Кавказе, мечта, реализации которой он будет добиваться с упорством и хитроумием. Но в 22 года сильный человек не смиряется со своей участью и не может поверить в окончательное поражение. И несомненно, что за два года, проведенные в костромском бездействии – бездействии физическом, – Ермолов жил интенсивной умственной жизнью, стержнем которой были построение планов на будущее, выбор вариантов, осмысление своих возможностей. Самохарактеристика, которую он начертал в воспоминаниях: «Добрая воля, кипящая, пламенная решимость, не знающая опасностей», – свидетельствует об уверенности, что при благоприятных обстоятельствах он сможет осуществить самые смелые замыслы. Разумеется, на ниве войны.

Труды по римской истории Ливия и Тацита были не просто увлекательным чтением. Оба они, каждый по-своему, были певцами римских доблестей, а Тацит, почитатель суровых республиканских добродетелей, еще и обличителем деспотов времен империи. У Тацита, кроме частично сохранившихся «Анналов», повествующих о временах империи – о правлениях Тиберия, Клавдия и Нерона, есть принципиально важное в данном случае сочинение – «Германия», обширный рассказ о жизни германских племен, антиподов Рима.

За годы ссылки у Ермолова была возможность изучить Тацита в полном объеме. И если предположить, что в круг его чтения входила «Германия», то это отчасти объясняет его позднейшее стремление на Кавказ. Именно Тацитова «Германия», сурово убедительная, могла стать основой его представлений о взаимоотношениях Российской империи и кавказских народов.

Для человека, сформированного веком Просвещения, античные источники играли огромную роль. Возможно, большую, чем собственный опыт.

Глубокий исследователь римской идеологии Георгий Степанович Кнабе писал в работе о Таците:

«В книге Тацита Германия и Рим выступают как враги, ведущие между собой ожесточенные войны. Войны эти длятся уже более двух столетий. Они давно перестали быть военным конфликтом или даже рядом таковых. Перед нами вековое противоборство двух взаимоисключающих укладов жизни, где столкнулись *Imperium*, то есть государственный организм, подчиненный опирающейся на военную силу центральной власти, и *Germanorum libertas*, „германская свобода“, – хаос местнических интересов и эгоистического своеволия. В этом конфликте римляне и используют прежде всего особенности германцев, вытекающие из отсутствия у них развитой государственности, их неорганизованность. Распри, слабости, связанные с отсутствием единства и выдержки. И в „Германии“ и в других сочинениях Тацит подчеркивает, что, живя войной и для войны, германцы так и не сумели выработать у себя дисциплину, привыкнуть к ответственности на поле боя, что отличает их от римлян и делает слабее последних»¹⁵.

Эта ситуация позже идеально наложилась на ситуацию «Российская империя – горские народы Кавказа». Вплоть до того, что гибель мощных легионов Варра, истребленных германцами в Тевтобургском лесу в 9 году н. э., была прообразом трагедий русских отрядов в лесах Чечни.

Тацит и Цезарь, разработавший эффективную стратегию и тактику подавления бестрашных германских племен, готовили в тихой Костроме будущего «проконсула Кавказа».

¹⁵ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. М., 1981. С. 187.

Переведенный в феврале 1827 года на Кавказ из Сибири декабрист Николай Цебриков, видевший в Тифлисе Ермолова, свидетельствовал, что сочинения Тацита и Цезаря были настольными книгами тогда еще командующего Кавказским корпусом.

Стало быть, два эти римлянина – историк-мыслитель и полководец-мыслитель – сопровождали Ермолова всю его активную жизнь.

Жизнь Ермолова, с пятнадцати его лет, была наполнена постоянными и стремительными переменами. Кострома была остановкой, паузой, возможностью всмотреться в себя, привести в систему представления о собственных возможностях, утвердиться в своем жизненном выборе, но и осознать хрупкость своего положения, свою зависимость от чужой и чуждой воли, здесь должна была укрепиться его жажда независимости, которая и привела его на Кавказ.

12

Отчаянные иеремиады Ермолова в письмах Казадаеву, не совсем соответствующие его основному настроению, имели, надо полагать, вполне определенную цель – подтолкнуть друга к конкретным действиям.

Александр Васильевич оказался и в самом деле «бесценным другом». Ресурсы для соответствующих действий у него были. И главный ресурс – свойство с любимцем императора графом Кутайсовым. Кроме того, он имел с екатерининских времен многочисленные связи в военных верхах, тем более что состоял при инспекторе всей артиллерии Корсакове.

Проникнувшись несчастьем своего друга, он немедленно начал действовать, хотя ему, как и всем в этом кругу, известно было «дело Каховского» – маловероятно, что он поверил наивным утверждениям Ермолова, и он понимал, что рискует.

К сожалению, не сохранились письма Казадаева в Кострому, и мы представляем себе происходившее по одним только ответным письмам Ермолова.

«Любезнейший друг Александр Васильевич!

Одолжения твои не только мои силы превышают, но и самые возможности выразить то чувство благодарности, коим я исполнен. Зная доброту сердца твоего и что ты не мне лишь одному, столько тебе приверженному, но и всем несчастным готов воспомоществовать, не напоминаю я о себе, ибо ты, храня еще во всей силе чувства дружбы, которые мы питали друг к другу, без сумнения обо мне помнишь и самое письмо твое, присланное с Иваном Николаевичем Назаровым, доказывает мне, что ты не только меня не забыл, но меня любишь и в несчастиях моих подаешь мне руку помощи.

Теперь пишу я тебе мало, но впоследствии изображу подробно, как я расположил жизнь мою, хотя и пустого много будет, но ты не поскучишь, желая знать, как препровождаю время. Прощай, любезнейший друг, будь благополучен, продолжай облегчать судьбу несчастных и тем сделай участь их бесценнее, что благополучием своим тебе они обязаны будут. Прощай, будь уверен, что я тебе не льстиво, но душевно предан и одолжения твои ценить умею. Продолжай их, не презирай тем состоянием, в каком нахожусь я теперь, оно может сделать меня несчастливym, но никогда не истребит тех чувств, которыми снискал я твою дружбу. Прощай.

1799 г., сентября 21-го дня».

Что за хлопоты предпринял Казадаев, мы не знаем. Он искал способов вернуть Ермолова в службу, но, зная нрав императора, делал это с чрезвычайной осторожностью. О варианте, предложенном Казадаевым, есть несколько свидетельств.

Денис Давыдов рассказывает: «Между тем правитель дел инспектора артиллерии майор Казадаев, женатый на дочери генерала Резвого, любя Ермолова, советовал ему написать жалобное письмо к свояку своему, графу Ивану Павловичу Кутайсову (женатому на

другой дочери Резвого), который ручался в том, что выхлопочет ему полное прощение и возвращение всего потерянного. При этом случае упрямство, коим всегда отличался Ермолов, обнаружилось в полном блеске. Хотя он благодарил Казадаева за его дружеское участие, но вместе с тем отказался писать к графу Кутайсову. Таким образом он отказывался от царского прощения, которое по ходатайству графа Кутайсова не замедлило бы последовать, и тем обрекал себя на заточение, которое могло быть весьма продолжительным».

Это почти буквальное воспроизведение рассказа самого Ермолова, который позже в собственных воспоминаниях нарисовал стоическую картину: «В Костроме получил я уведомление от одного из лучших приятелей, сослуживца, который по супружеству своему был в тесных связях родства с любимцем императора графом Кутайсовым, что, склонив внимание его к несчастному положению моему, имеет от него поручение дать мне знать, чтобы, изобразив его в самых трогательных выражениях, я обратился к нему с письмом моим и что он надеется испросить мне прощение. Конечно, неблагоразумием назову я твердую волю мою в сем случае, но не дорожил я свободой, подобным путем снисканною, и не отвечал на письмо приятеля моего».

Если Давыдов воспользовался устным рассказом своего кузена, то Погодин¹⁶, описывая эту ситуацию, опирался на известный ему текст воспоминаний.

Ермолов, воспитавшийся на Плутархе и напивавшийся в ссылке высокими примерами римских доблестей, желал представить себя потомству достойным этих традиций.

Его рассказ – яркий образец автобиографического мифа.

Причем сведения Давыдова более правдоподобны, чем позднейший литературно обработанный вариант Ермолова. Ермолов рассказывал ему о том, что написание письма было инициативой Казадаева и ему еще предстояло обсудить это с графом Кутайсовым. В воспоминаниях же граф сам якобы предлагал эту акцию, гарантируя успех.

В этом случае отказ Ермолова, естественно, выглядит чистым героизмом.

На самом деле все было не совсем так и вполне соответствовало нравам эпохи.

«Любезнейший друг Александр Васильевич!

Письмо твое доставлено было верно, удовольствие, которое оно мне доставило, есть сверх всякого ожидания. Ты можешь представить себе, сколько человеку в моем положении лестно вспоминание друзей его, я не в силах возблагодарить тебя соответственно твоим одолжениям и попечению обо мне. Не припиши лести, если скажу я, что редки таковые друзья и что первый из них ты. Ты заслуживаешь удивление, соразмерное почтению, которое всякого к тебе иметь доставляешь. Я не имел случая оказать тебе ни малейших услуг и кроме истинного и душевного моего к тебе почтения не было других доказательств моей привязанности, но в сравнении с твоими обо мне стараниями возможные усилия с моей стороны заслужить оные будут недостаточны. Письмо сие препровождал я к тебе с коллежским советником здешним прокурором Александром Федоровичем Новиковым, который хорошим своим ко мне расположением и одолжениями заслуживает возможное уважение и почтение. Ты к нему приласкайся и его весьма полюбишь».

Надо полагать, что пылкие излияния Алексея Петровича были совершенно искренни. Богатый, успешный по службе, во всех отношениях благополучный Казадаев пустился в рискованные хлопоты из чистого чувства дружбы и сострадания.

То, что письмо привез губернский прокурор – симптоматично. Костромское чиновничество явно сочувствовало ссылке подполковнику. Вопреки утверждениям Алексея Петровича он пребывал в Костроме отнюдь не в пустоте.

И далее он излагает сюжет, в очередной раз демонстрирующий механизм автобиографического мифотворчества:

¹⁶ Михаил Петрович Погодин (1800–1875) – историк и литератор, биограф А. П. Ермолова.

«Долго думал я о твоём мне совете писать письмо известной тебе особе, но кажется, слишком я несчастлив, чтобы могло сие средство послужить в пользу. Однако же, не взирая на все предузнания, должно все испытать, чтобы не упрекнуть себя после. Ты начал сам делать мне сие, мало если окажу я вспоможение, но малость тебе одному представляю сие усовершенствовать. Воспользуйся, любезный друг, сим верным случаем и с ним напиши мне обратно, нужно ли, необходимо <ли> употребить в действие сие единое средство? Ты можешь все писать без малейшего сумнения, и тогда примемся мы порядочно за дело. Или, может быть, нужно уже будет иметь терпение. Если и так, то верь, что я много его имею и недостатком оного не можешь упрекнуть своего друга. Располагай по возможностям, я на одного тебя имею мою надежду и слишком я тебя знаю, чтобы мочь сколько-нибудь усомниться. Я с нетерпением ожидаю твоего ответа. <...>

Всепокорнейший слуга *Алексей Ермолов*.

30-го ноября. Кострома».

Как видим, вопреки рассказам самого Алексея Петровича, воспроизведенным позднее в различных вариантах, он отнюдь не проявил римской стойкости, но готов был воспользоваться предложенной Казадаевым интригой, вполне типичной для времени и не заключающей в себе ничего особенно уничижительного.

Однако если внимательно вчитаться в письмо, то станет ясно, что прибегнуть к протекции пленного турчонка, капризом императора ставшего большим вельможей, Алексею Петровичу очень не хотелось. Он готов был пойти на это, но только в том случае, если бы Казадаев ручался за успех.

Дубровин, знакомый с этим письмом, резонно замечает:

«Погодин говорит, что Ермолов наотрез отказался писать письма, тогда как на самом деле это было не так. Очевидно, что рассказывая впоследствии, А. П. хотел замаскировать свои действия и выставить рельефнее свой характер».

Что произошло далее – неизвестно. То ли Казадаев, проконсультировавшись с Кутайсовым, понял, что тот не склонен ходатайствовать за преступника, чем-то сильно раздражившего Павла, и письмо не было написано, или оно было написано, но не принесло желаемого результата.

Во всяком случае, явных следов этой акции не зафиксировано. По утверждению Ермолова, равно как и по документальным свидетельствам, Алексей Петрович получил свободу только по смерти Павла.

И однако здесь мы сталкиваемся со странным противоречием.

Обратим внимание на фразу из воспоминаний Алексея Петровича, когда рассказывает он о костромской ссылке: «Полтора года продолжалось мое пребывание». На самом деле он пробыл в Костроме два с лишним года...

В конце концов, это могло быть опiskeй. Маловероятно, чтобы Ермолов забыл, сколько же времени провел он в ссылке. Странно только, что этого не заметили комментаторы его мемуаров.

Но в прошении Ермолова об отставке от 10 ноября 1827 года, где он подробно, с точными датами перечисляет все свои перемещения по службе по 1807 год, он, в частности, пишет: «Принят паки в службу в 8-й артиллерийский полк 1801 года марта 1».

Но 1 марта 1801 года Павел был еще жив и здоров. Убит он был через десять дней – 11 марта. Значит, Ермолов был освобожден и принят в службу при жизни императора?

В записках о своей молодости Алексей Петрович утверждает: «Скончался император Павел, и на другой день восшествия на престол Александр I освободил Каховского и меня в числе прочих соучастников вымышленного на него преступления».

Тщательный исследователь биографии нашего героя А. Г. Кавтарадзе сообщает:

«По восшествии на престол Александра I были освобождены многие лица, арестованные за время царствования его отца, в том числе и большинство членов смоленского офицерского кружка»¹⁷.

Увы, отнюдь не большинство.

15 марта 1801 года Сенат получил именной указ нового императора «О прощении людей, содержащихся по делам, производившимся в Тайной Экспедиции, с присовокуплением 4-х списков оных».

«Обращая бдительное внимание на все состояния врученного Нам от Бога народа, и желая наипаче облегчить тягостный жребий людей, содержащихся по делам в Тайной Экспедиции производившимся, препровождаем при сем списки: 1) О заключенных в крепостях и разных мест сосланных с лишением чинов и дворянского достоинства; 2) О таковых же заключенных и сосланных без отнятия чинов и дворянства; 3) О содержащихся в крепостях и сосланных в разные места на поселение и в работу людей, не имевших чинов; и 4) О сосланных по городам и в деревни под наблюдение и присмотр Земских начальств, Всемилоостивейше прощая всех, поименованных в тех списках без изъятия, возводя лишенных чинов и дворянства в первобытное их достоинство, и повелевая Сенату Нашему освободить их немедленно из настоящих мест их пребывания и дозволить возвратиться, кто куда желает, уничтожа над последними и порученный присмотр. В прочем Мы в полном надеянии пребываем, что воспользовавшиеся сею Нашею милостию, потщатся поведением своим соделаться оной достойными».

В первом списке числились подлежащими освобождению из Шлиссельбургской крепости бывший подпоручик Огонь-Догановский, а из Кексгольмской – бывший капитан Бухаров.

По второму списку освобождался из заключения в Спасо-Прилуцком монастыре титулярный советник Кряжев, незадолго до ареста перешедший из военной в статскую службу.

По четвертому списку освобождался сосланный в Кострому артиллерии подполковник Ермолов.

Списки эти – всего 130 человек – дают весьма поучительную картину павловских политических репрессий, отображая их размах и пестроту.

Тут и Радищев, живший после воцарения Павла в своем имении в Калужской губернии, возвращенный из Сибири, но не допущенный в столицы; и вольнодумец и авантюрист Кречетов, схваченный еще при Екатерине, основатель «тайного общества», в которое он звал великого князя Павла Петровича; и Балье, «при Высочайшем Дворе служивший кондитором» и, видимо, попавший под горячую императорскую руку и угодивший в Киево-Печерскую крепость; и княгиня Анна Голицына; и арап Александров, «служивший при дворе»; и англичанин Фокс, сосланный в Вятку; французы, поляки, много военных – от солдата до полковника; и «Уманьян, Беккер, Монтаний, иностранные купцы, бывшие в Москве»; и крестьяне; и даже солдатские жены, и т. д.

Из взятых по делу «канальского цеха» помилованы только четверо. Остальные еще ждали своей очереди. По какому принципу отбирались первые кандидаты на помилование – сказать невозможно.

Каховский упоминается в письмах Ермолова как свободный человек только со следующего года.

Тот же А. Г. Кавтарадзе, опираясь на послужной список Ермолова, пишет: «9 июня 1801 года Ермолов был принят в чине подполковника в 8-й артиллерийский полк».

Но Ермолов в прошении 1827 года об отставке говорит о том, что 9 июня произошло нечто иное: «Поступил в конноартиллерийский батальон 1801 г. июня 9».

¹⁷ Кавтарадзе А. Г. Генерал А. П. Ермолов. Тула, 1977. С. 20.

По утверждению Алексея Петровича в том же документе 1827 года, 1 марта 1801 года он был зачислен в службу в 8-й артиллерийский полк, а 9 июня – в конноартиллерийский батальон, то есть получил конноартиллерийскую роту, которая дислоцировалась в Вильно.

Если же верить Своду законов и воспоминаниям Ермолова, 1 марта 1801 года он жил еще под присмотром в Костроме. Стало быть, имеет место несомненная ошибка или описка, которая кочевала из одного формуляра в другой.

То, что указ о его освобождении издан был не в первый день воцарения Александра, а через три дня – не 12, а 15 марта, – это мелочь.

Не нужно, однако, думать, что ситуация с просьбой о помиловании – само по себе обсуждение такой необходимости – была для Ермолова легкой и простой. Нравы нравами, но внутри одной традиции разные люди чувствуют себя по-разному.

Едва ли не все, кто знал Ермолова или изучал его личность, особо подчеркивали его высочайшую самооценку. Как писал Дубровин: «Сознавая свои силы, Ермолов, сделавшись непомерно-честолюбив и упрям, стал относиться к некоторым с едким сарказмом, иронией и насмешками»¹⁸.

Человеку с такой самооценкой, готовившему себя к великому поприщу, конечно же тяжело было обращаться с униженно-трогательным прошением к кому бы то ни было...

Итак, судя по документальным данным, Ермолов появился в Петербурге после воцарения Александра I.

¹⁸ Военный сборник. 1869. № 11. С. 25.

Новая жизнь

1

Все приходилось начинать заново.

И сложность его положения была не только и не столько в том, что не было уже у него покровителей, «протекторов», а в том, что – по известному выражению – он вернулся в другую страну.

Стремительно короткая Павловская эпоха рухнула в небытие.

Манифест от 12 марта 1801 года о вступлении на престол Александра гласил:

«Объявляем всем верным подданным Нашим. Судьбам Вышнего угодно было превратить жизнь любезного Родителя Нашего Государя Императора Павла Петровича, скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11 на 12 число сего месяца. Мы восприемля наследственно Императорский Всероссийский Престол, восприемлем купно и обязанность управлять Богом нам врученный народ по закону и по сердцу в Бозе почившей Августейшей Бабки Нашей Государыни Императрицы Екатерины Великой, коея память Нам и всему Отечеству вечно пребудет любезна, да и по ЕЕ премудрым намерениям шествуя, достигнем вознести Россию на верх славы и доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным нашим...»

В самом деле, влияние эпохи Екатерины было еще сильно. Исторические эпохи не кончаются в одночасье. Эпоха Павловская за своей краткостью и контрастностью по сравнению с эпохой предыдущей стала исключением из правил. Хотя фанатичная фрунтomanия, привитая Павлом своим сыновьям, опасно роднила два царствования...

Положение оказавшегося в Петербурге Ермолова было таково, что его вряд ли волновали политические новшества, сопровождавшие смену персон на троне, восстановление дворянских выборов, отмена запрещения на ввоз в Россию иностранных книг, даже подтверждение Жалованной грамоты дворянству, декларирующей дворянские вольности и замороженной Павлом.

Его заботила собственная судьба. В подробных письмах Казадаеву, даже в тех, что пересылались с оказиями, нет и следа политических соображений.

Ермолов был сосредоточен на одной упорной мысли: как вернуть потерянное за годы опалы, как восстановить нормальный ход военной карьеры.

Вообще политические представления Алексея Петровича – сфера таинственная...

Вокруг Александра оказались люди, сформировавшиеся хотя в екатерининское время, но в разных слоях. Были две влиятельные группы. Первая – «молодые друзья» нового императора: граф Павел Строганов, бывший активным свидетелем французской революции и напитавшийся ее идеями; граф Виктор Кочубей, дипломат, племянник Безбородко; князь Адам Чарторыйский, польский патриот, который через три года станет министром иностранных дел России; Николай Новосильцев, боевой офицер, воевавший в 1794 году против Костюшко, несколько лет живший в Лондоне, человек выраженного государственного ума. Все они, кроме сорокалетнего Новосильцева, были ненамного старше 24-летнего императора. Все они были безусловные либералы, мечтавшие о существенных преобразованиях государственной жизни империи.

Второй крупной группировкой были екатерининские маститые вельможи, заседавшие в Государственном совете.

Первым серьезным столкновением между ними был спор о судьбе Грузии. Спор, от решения которого, как выяснилось через 15 лет, зависела судьба Ермолова. Именно тогда, в летние месяцы 1801 года, решался не только вопрос, быть ли Грузии частью Российской империи или остаться жертвой свирепой борьбы интересов окружавших ее исламских деспотов и воинственных горных народов, но и более частный вопрос: останется ли будущий генерал Ермолов на обычной рутинной стезе среди десятка таких же ярких, но заключенных в строгие рамки фигур, или же вырвется в совершенно иную сферу, соответствующую его «неограниченному честолюбию»?

История вхождения Грузии в состав Российской империи многосложная и драматическая. Излагать ее здесь сколько-нибудь подробно возможности нет¹⁹.

Манифест Павла в ответ на просьбу царя Георгия XIII о вхождении Грузии в состав Российской империи был подписан 18 декабря 1800 года, когда Ермолов тосковал в Костроме.

Царь Георгий умер, а император Павел был убит.

Окончательное решение судьбы Грузии легло на Александра.

«Молодые друзья», считавшие, что прежде всего необходимо заняться внутренними реформами, были решительно против подтверждения павловского манифеста, понимая, какие сложности это влечет. В частности – обострение отношений с Персией и неизбежные столкновения с горскими народами.

«Екатерининские орлы» Государственного совета столь же решительно настаивали на включении христианского царства в состав империи. Любое расширение территории было для них императивом.

После длительных колебаний Александр манифестом от 12 сентября 1801 года подтвердил обещание своего убитого отца. Но в манифесте – в ответ на второй пункт прошения покойного царя Георгия – было сказано: «...Желали Мы испытать еще нет ли возможности восстановить первое правление (то есть царскую власть. – *Я. Г.*) под покровительством Нашим и сохранить вас в спокойствии и безопасности. – Но ближайшие по сему исследования наконец убедили Нас, что разные части народа Грузинского, равно драгоценные нам по человечеству, праведно страшатся гонения и мести того, кто из искателей достоинства царского мог бы достигнуть его власти. <...> Не для приращения сил, не для корысти, не для распространения пределов и так уже обширнейшей в свете Империи приемлем Мы на себя бремя управления царства Грузинского. – Единое достоинство, единая честь и человечество налагают на Нас священный долг <...> учредить в Грузии Правление, которое могло бы утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность и дать каждому защиту закона».

В Грузию был направлен главноуправляющим, то есть наместником, генерал-лейтенант Кнорринг, а все члены царствующего дома, оказавшиеся в пределах досягаемости, были высланы в Россию...

Так был заложен краеугольный камень уникальной карьеры подполковника артиллерии, прозябавшего в Вильно. Именно благодаря решению Александра, непременным следствием которого должна была стать и стала великая Кавказская война, Ермолову суждено было стать не просто историческим лицом, но лицом историческим по преимуществу. Человеком-символом – «альтер эго» Российской империи.

¹⁹ См. фундаментальное исследование: *Авалов З.* Присоединение Грузии к России. СПб., 2009.

2

У нас немного сведений о периоде жизни Ермолова после возвращения из ссылки и до начала Наполеоновских войн.

Сам он писал: «Я приезжаю в Петербург, около двух месяцев ежедневно скитаюсь в Военной коллегии, наскучив всему миру секретарей и писцов. Наконец доклад обо мне вносится государю, и я принят в службу. Мне отказали чин, хотя принадлежащий мне по справедливости, отказано старшинство в чине, конечно не с большею основательностью. Президент Военной коллегии генерал Ламб, весьма уважаемый государем, при всем желании ничего не мог сделать в мою пользу».

Здесь почти все соответствует действительности.

Хотя главных покровителей Ермолова уже не было на сцене, но были влиятельные люди, помнившие его и готовые помочь.

Генерал В. И. Ламб был одним из них.

6 июня 1801 года он писал инспектору артиллерии Корсакову: «Милостивый государь мой, Алексей Иванович! Я сегодня имел счастье Государю императору докладывать между прочим и о господине Ермолове. Не знаю, угодил ли я вам во всем, но что от меня зависело, то все я сделал как добрый человек. Его Величеству угодно было повелеть принять его в 8-й артиллерийский полк, но только тем же чином. Как старшинство ни у кого не отнимается, то и нет сомнения, чтобы не получил он следующий чин при первом производстве, но до того времени надобно взять терпение. Я еще уверяю вас, что по истине просил верноподданнейше о чине, но высочайшего соизволения на то не было».

Чин полковника Ермолов не получил, но и старшинство у него отнято не было. Правда, особой пользы ему это не принесло. Он ждал производства еще пять лет.

Денис Давыдов – источник ясен – объяснял эту несправедливость: «Граф Аракчеев пользовался всяким случаем, чтобы выказать свое к нему неблаговоление; имея ввиду продержат его по возможности долее в подполковничьем чине, граф Аракчеев переводил в полевую артиллерию ему на голову либо отставных, либо престарелых и неспособных подполковников». Они получили чин раньше Ермолова, и, соответственно, старшинство оказывалось за ними, а следовательно, и производство в полковники.

Отношение и Александра, и Аракчеева к «прощенному преступнику» понятно: Александр, поддержавший заговор против своего отца, тем не менее воспринимал этих «провинциальных смутьянов» как нарушителей установленного порядка. Прощение было необходимым и рассчитанным жестом, но это не значит, что все прощенные были ему симпатичны. Одно дело четкий и быстрый дворцовый переворот, не грозящий устоям государства, и совсем иное – движение офицерства, расшатывающее – против кого бы оно ни было направлено – самые основы армейской дисциплины. А выход из-под генеральского контроля офицеров чреват был выходом из-под всякого контроля солдат.

Ермолова он вернул, но поощрять не собирался.

С Аракчеевым все было еще проще. Он знал, против кого конспирировали Ермолов и его друзья: против императора Павла, которому он, Аракчеев, был искренне предан.

Положение сложилось, конечно же, парадоксальное – любимый Аракчеевым Павел был свергнут и убит с согласия Александра, но теперь оба они сходились в неприязни к тем, кто высмеивал покойного императора и обдумывал планы его убийства...

Одно дело высший генералитет, исходивший из чувства самосохранения и просто сменивший персону на престоле, и совсем иное – молодые вольнодумцы, воспитанные в эпоху Орловых и Потемкина, эпоху истоком которой был гвардейский мятеж.

Хотя идеолог и организатор переворота 11 марта Пален был из Петербурга удален.

Надо сказать, что соображения Александра были вполне резонны, дальнейшее развитие событий это подтвердило. Каховского с товарищами вряд ли следует считать идеологическими предтечами декабристов, но декабристы, безусловно, продолжили их нравственную и организационную традицию.

Периоду с момента своего освобождения по 1805 год Алексей Петрович в воспоминаниях уделяет одну страницу. Воспроизведем ее и попробуем развернуть.

«С трудом получил я роту конной артиллерии, которую колебались мне доверить как неизвестному офицеру между людьми новой категории». Вот важная и точная формула – «между людьми новой категории».

При каждом политическом катаклизме стремительно появляется эта «новая категория» людей, так или иначе причастных к смене власти или с первого же момента громко заявлявших о поддержке новой августейшей особы.

Хотя и существует мнение, что смоленские вольнодумцы были ориентированы на наследника Александра Павловича, а возможно, даже имели с ним связь, но в мартовском Петербурге 1801 года оказалось столько людей, стоявших вплотную к событиям, что в любом случае провинциальные сторонники великого князя Александра оказались вне поля августейшего внимания.

Имя Ермолова было неизвестно Александру, но зато вполне известно Аракчееву.

«Я имел за прежнюю службу Георгиевский и Владимирский ордена, употреблен был в войне с Польшей и против персиян, находился в конце 1795 года при австрийской армии в приморских Альпах. Но сие ни к чему мне не послужило, ибо неизвестен я был в экзерциргаузах, чужд смоленского поля, которое было защитой многих знаменитых людей нашего времени».

Когда Ермолов утверждал, что ему неизвестны были причины его ареста и ссылки, он, разумеется, кривил душой, выстраивая свою биографию. И тут обижаться было не на кого. Он и сетует только на судьбу.

Но после возвращения на службу ситуация изменилась. Изменился и адресат претензий. С этого времени обида, ощущение несправедливости – постоянная интонация его воспоминаний. Конечно же, он имел куда больше заслуг, чем многие его новые сослуживцы. Конечно же, он имел куда более профессиональных достоинств, чем многие его начальники. Но его не было уже несколько лет перед глазами тех же великих князей во время парадов и учений на том же Смоленском поле. Он был неизвестен, а следовательно – чужой.

«Я приезжаю в Вильну, где расположена моя рота. Людей множество, город приятный; отовсюду стекаются убежавшие прежнего правления насладиться кротким царствованием Александра 1-го; все благословляют имя его и любви к нему нет пределов! Весело идет жизнь моя, служба льстит честолюбию и составляет главное мое управление; все страсти покорены ей!»

Это был опасный период. Обстоятельства заставляли его становиться обыкновенным человеком, гасили его «непомерное честолюбие», ибо совершенно непонятно было, каким же образом может оно осуществиться. Его заявление: «служба льстит честолюбию и составляет главное мое управление» – правдоподобно только во второй половине фразы. Да, служил он с рвением. Ему нравилось служить. Но служба влекла его не сама по себе, а как достижение цели далеко не заурядной. Он понимал, что может удовлетворить свое честолюбие только на военном поприще.

Но как могло «льстить честолюбию» – его честолюбию! – положение командира конноартиллерийской роты, «завалывшегося в полуполковниках»?

Денис Давыдов, благоговевший перед Ермоловым, писал: «Алексей Петрович, не могущий не сознавать в себе способностей, был всегда одарен большим честолюбием».

Воспоминания являются – даже при фактологической правдивости – в большей степени литературой, чем исповедью.

«Весело идет жизнь моя...»

Чтобы составить себе ясное представление о жизни и настроении Ермолова в этот период, надо снова обратиться к его письмам Казадаеву.

Писем виленского периода довольно много, и они существенно контрастны по отношению к мемуарам, и каждое из них наполнено смыслом и выразительно очерчивает внутренний облик нового Ермолова – Ермолова после жизненной катастрофы. Но мы ограничимся несколькими фрагментами²⁰.

«Итак, я теперь опять имею пустую выгоду быть первым подполковником. Палкевич вышел в корпус Киевский. Ей богу, больно столько времени быть в одном чине и служба, имеющая для меня все приятности, иногда их теряет в виду моем. Но что делать, любезнейший друг, боюсь только, чтобы ты меня не упрекнул малодушием. Но кто, служа, не ищет протесниться сквозь кучу обогнавших, и если судьба доставит какой-нибудь случай по нашей службе, употреби его в пользу человека, кроме твоей подпоры никого не имеющего, и отправь меня куда-нибудь. Не думай, чтобы это были мои вымыслы. Нет, брат мой сидит подле меня и велит мне писать, чтобы ты выискал для меня *подвиг*. <...> 9-го февраля».

Это 1802 год. Ермолов меньше года в Вильно и уже томится своей службой.

Во-первых, ему давно уже положен по выслуге чин полковника. Но и когда он оказывается первым, то есть старшим подполковником в батальоне, он не надеется на производство. Для офицера застревание в одном чине чревато крушением карьеры. На него смотрели как на неспособного – каков бы ни был он на самом деле. И нужна была чья-то сильная рука, чтобы вытолкнуть его из этой мертвой заводи.

Во-вторых, такое ермоловское – «отправь меня куда-нибудь». Он слишком хорошо помнит первые годы своей службы: Молдавия, Польша, Италия, Каспий... Его натура жаждет движения не только по службе, но и в пространстве. Ему необходима динамика.

Каховский, выпущенный из крепости и живущий вместе с младшим братом, лучше, чем кто бы то ни было, понимает его натуру и те обстоятельства, при которых молодой честолюбец только и может быть собой в полной мере. «Чтобы ты выискал для меня *подвиг*». Слово «подвиг» подчеркнуто.

И старший, и младший знают, что в сложившейся ситуации только подвиг – деяние из ряда вон выходящее – может вырвать из служебной рутины, компенсировать потерянные годы, дать надежду на реализацию мечты.

Говоря сегодняшним языком, это стремление в какую-нибудь «горячую точку», а не просто перевод в другую губернию.

Он остро осознавал, насколько судьба его, его карьера в том ее виде, в каком она только и была для него приемлема, зависят от поддержки Казадаева, правителя дел инспектора артиллерии, и стоящего за ним Корсакова. И мысль о том, что Александр Васильевич сменит место службы, ужасала его.

«Любезнейший друг Александр Васильевич!

Я уже проклиная твою отставку, с тех пор как ты получил ее, то уже ко мне не пишешь и как будто с нею получил вместе право забыть меня. <...> Новиков мне пишет, что ты старался о переводе моем в казаки, как жаль, что не удалось, а теперь совсем было бы не худо в смутных моих обстоятельствах.

Признаюсь тебе, как истинному другу, что я и в запорожцы идти не отказался. Едва ли лестно служить теперь в артиллерии. Я желал бы ускользнуть, но не предвижу никаких воз-

²⁰ Письма из Вильно хранятся в том же фонде ОР РНБ, что и письма из Костромы.

можностей еще менее людей к тому способствовать могущих. Терпение необходимо. Может быть, не будет ли со временем случая употребить себя полезнее. Надобно подождать».

Всю военную жизнь Ермолова, всю его карьеру любой пост – вплоть до кавказского «проконсульства» – рано или поздно начинал его тяготить, как не отвечающий его представлениям о своих возможностях. И началось это в Вильно. Идея перевестись в казачьи войска, к старому приятелю по ссылке Платову, была в то время любимой идеей. Это была не просто смена климата и рода войск, но и возможность большей свободы, большей независимости.

Это была и память о временах его счастливой и удачливой юности – служба с Раевским, полк Булавы Великого Гетмана, где он получал первые навыки практического артиллерийского дела.

Он не случайно вспоминает запорожцев – в этой печальной шутке был свой смысл. Запорожская Сечь, уничтоженная Потемкиным, – сфера максимальной свободы...

Слух об отставке Казадаева оказался ложным. Александр Васильевич служил при Корсакове до 1803 года – до отставки самого Корсакова. Но вне зависимости от этого нарастает беспокойство в душе Ермолова.

«Мы слышим тысячу новостей касательно артиллерии, но я перестал верить, ибо все столько смешно и глупо, что едва ли можно им сбыться. Сколько бы ни прилагали труда вымышлять пустяки. <...> Как слышно, многие из генералов останутся лишними, да сверх того миллион полковников, и так нет надежды (на получение следующего чина. – Я. Г.), чтобы когда-либо что получить можно. Одно утешение, что наши чины гораздо реже нежели генеральские <...>».

Не знаем, какие именно реформы имел в виду Ермолов, да это и неважно. Его раздражало все. Генералов и штаб-офицеров за екатерининское и особенно павловское время в армии стало и в самом деле слишком много. Высокие чины получали по разным причинам, далеко не всегда по боевым заслугам.

Ермолов не без оснований опасался затеряться в этой массе.

«Я здоров, любезный друг, занимаюсь службою прилежно, ибо мне в диковинку после такой праздной и томной жизни, как я два с половиной года вел. Только еще не могу попасть на лад. Не знаю, каким образом вкралась в меня страшная скука, что я редко или почти никогда весел не бываю, сижу один дома <...>».

Он не обманывал Казадаева. Его действительно одолевала хандра. Он отчаивался вырваться из рутины. Упования на «подвиг» становились все призрачнее. Казадаев и Корсаков могли ему помочь в мелких распрях с Капцевичем и другими недоброжелателями, но явно не могли – как некогда Самойлов и Безбородко – «отправить куда-нибудь»... Он становился мнителен: «Что слышно про наших лошадей, их уничтожат при артиллерии и сколько для учения оставят и как скоро та перемена будет. Есть хорошая приличная к тому пословица, „как нам жениться, то и ночь коротка“. Завалюсь полуполковником в коннопешей роте».

Все его раздражало. И нелепая экономия за счет конноартиллерийских лошадей, которых собирались сократить, превратив конные роты в «коннопешие». Служить в таких ему было и вовсе не интересно. «Завалюсь полуполковником». Он умоляет Казадаева: «Выищи какую-нибудь комиссию, в которой можно бы возвратить потери, по службе сделанные по несчастию, так как брат мой говорит подвиг, а без того жестоко худо».

Это уже сентябрь 1802 года.

Он убеждает себя, что его снова ждут неприятности, несчастья, окончательно ломающие его карьеру.

Мысль о том, что у него отнимут роту, все более его мучает.

Читать это тяжело. Мощный, бесконечно самолюбивый, мужественный человек находится в состоянии постоянной паники.

Сильно травмировала сознание Ермолова катастрофа 1798–1801 годов: арест, крепость, ссылка. Настолько сильно, что он ежечасно ожидал ударов судьбы. Тысячи офицеров служили, не имея в близких правителя дел инспектора артиллерии. Алексей Петрович не видит возможности служить без поддержки Казадаева и думает об отставке. Что ждало в случае отставки его, живущего на скудное офицерское жалованье? Статская должность где-нибудь в провинции? Что стало бы с его мечтами о славе и подвигах?

Слухи об отставке Корсакова и замене его Аракчеевым становились все определеннее. И пока Казадаев еще занимал свою должность, Алексей Петрович старался получить от него максимум помощи. Он регулярно хлопотал перед Казадаевым за своих подчиненных и просто людей, впавших в несчастье. Но главным для него была поддержка в делах службы: «Теперь, любезнейший друг, моя собственная просьба. От Баталиона Капцевича отправлен офицер для привода рекрут и я буду их получать от него. Ты не можешь вообразить, какую зависть производит наша служба в глазах господ пехотных офицеров и все те шиканы²¹, которые мы вытерпываем. Капцевич снабдил нашу роту 30 человеками, к конной службе совершенно неспособными, вытолкнув самых негодяев из своего баталиона. Не можешь, любезный друг, прислать мне какой-нибудь фирман, с которым я бы явился пред великого генерала Капцевича и мог почтеннейше предложить ему о назначении рекрут годных. Божусь, любезнейший Александр Васильевич, я имею 30 таких, с которыми служить стыдно и теперь, если ты мне не выхлопочешь такого манифеста, то я пропаду совсем, ибо он рекрут, может быть, и не даст, а дадут негодяев из баталиона.

Прошу тебя, помоги человеку, тебя душевно любящему и тобою благодетельственному».

Даты на письме нет, но это – по обстоятельствам – 1803 год.

Это не вздорность. Чтобы проявить себя, нужна образцовая команда, а для конноартиллерийской роты кадровый состав – вопрос первостепенный. Сбывая в его роту негодных солдат, тем самым лишают его надежды на продвижение.

7 сентября того же года он пишет: «Если верить размножаемым слухам, то Алексей Иванович (Корсаков. – Я. Г.) уже подал прошение в отставку. <...> При сем случае может и с тобою быть перемена, которую еще более приму я к сердцу. <...> Если есть еще время, любезнейший друг, то не забудь о моем фельдфебеле и Горском. Ежели ты им не сделаешь помощи, то для них все потеряны надежды, если на меня, то и я, любезнейший друг, в тебе все потеряю. Знакомств у меня нет, а особливо при том инспекторе, о котором слух. Итак, останемся, как раки на мели».

Наконец столь долго и с тревогой ожидаемое событие свершилось.

14 мая 1804 года Ермолов пишет: «Письмо твое я получил. С отставкою тебя не поздравляю, но еще жалею сердечно, что ты нас оставил, а более всего меня, который в едином тебе имел всю свою помощь».

Когда Ермолов говорил Ратчу об опасности слишком благоприятных условий службы в молодости, то он знал, что говорил. Юношеская привычка чувствовать себя под сильным покровительством и занимать особое положение привела к тому, что, потеряв это положение, он чувствовал себя беззащитным. Его отношения с Казадаевым были в некотором роде суррогатом того положения, которое давала ему протекция Самойлова, Безбородко, Зубова.

Теперь он терял и поддержку Казадаева.

Надо отдать должное Алексею Петровичу – он справился с этим очередным переломом в своей судьбе.

6 апреля 1805 года он писал своему другу, теперь уже занявшему пост начальника Горного кадетского корпуса: «Благодаря Бога, долговременной моей болезни избавился и теперь

²¹ Злоупотребление правом (юр.).

совершенно здоров. Слухи у нас о войне, не худо. Я не избегаю, напротив удвою прилежность мою к службе. Надо будет, как говорят, с конца шпаги доставать потерянное».

Если сопоставить то, как Ермолов описывал в воспоминаниях свою жизнь в Вильно, и то, что писал он об этой жизни и своем душевном состоянии Казадаеву, то возникает вопрос – чему верить? Откровенное противоречие между мемуарами и письмами вполне отражает глубокую противоречивость его натуры в том виде, в каком она сложилась под давлением обстоятельств. А это естественным образом определяло его взгляд на мир и на себя в мире.

Верить приходится и тому и другому.

Это две стороны его существования – внешняя и внутренняя. Человек сильного ума и немалого уже горького опыта, он понимал, что обстоятельства засасывают его в водоворот обыденности. Этого он, надо полагать, больше всего боялся с юности. Недаром он, пользуясь благосклонностью «сильных персон», раз за разом не просто менял места службы, но стремился к резким и экзотическим поворотам судьбы.

Он не хотел казаться смешным, демонстрируя свою тревогу и душевное уныние. Очевидно, внешне он жил так, как и должен был жить молодой, сильный, красивый офицер, остролов и ловелас.

«Мирное время продлило пребывание мое в Вильно до конца 1804 года. Праздность дала место некоторым наклонностям, и вашу, прелестные женщины, испытал я очаровательную силу; вам обязан многими в жизни приятными минутами».

Он не говорит о любви. Он говорит о забавах. Женщина – улада воина.

Ермолов никогда не был женат и объяснял это своим малым достатком. Он и в самом деле всю жизнь жил на жалованье, а в отставке – на пенсион. Но есть основания полагать, что дело отнюдь не только в этом. Неопределенная, но величественная цель, которую он перед собой ставил с юности, не сочеталась ни с какими частными узами – семейными в первую очередь.

Он был создан не просто для военной службы. Он был создан для войны. Война не просто давала возможность максимально проявить себя и выдвинуться – война была естественным для него образом существования.

Его «непомерное честолюбие» не давало ему покоя в мирной жизни, даже если она была заполнена напряженной служебной деятельностью.

«Недостает войны. Счастье некогда мне благоприятствовало!» – писал Ермолов. Счастье благоприятствовало ему в огне пражского штурма. Счастье благоприятствовало ему в головоломном горном переходе с генералом Булгаковым и под стенами Дербента.

Как только закончилась война – счастье изменило.

Теперь он жил надеждой на новую войну и энергично готовился к ней.

«Я получил повеление выступить из Вильны. Неблагосклонное начальство (Аракчеев. – Я. Г.) меня преследовало, и в короткое время мне были назначены квартиры в Либаве, Виндаве, Гродне и Кременце на Волыни; я веду жизнь кочевую и должен был употребить все способы, которые дала мне служба, при моей воздержанности и бережливости. У меня рота в хорошем порядке, офицеры отличные, и я любим ими, и потому мне казалось все сносным, и служба единственное было благо».

3

В нем удивительным образом уживались два несхожих характера.

Один Ермолов не мог удержаться, чтобы не надерзить всесильному Аракчееву. Он так вспоминал об этом эпизоде: «1805. Проходя из местечка Биржи инспектор всей артиллерии граф Аракчеев делал в Вильне смотр моей роты, и я, неблагоприятно и дерзко возражая на одно

из его замечаний, умножил неблаговоление могущественного начальника, что и чувствовал впоследствии».

Денис Давыдов сохранил подробности этой истории: «Однажды конная рота Ермолова, сделав переход в двадцать восемь верст по весьма грязной дороге, прибыла в Вильну, где в это время находился граф Аракчеев. Не дав времени людям и лошадям обчиститься и отдохнуть, он сделал смотр роте Ермолова, которая быстро вскакала на находящуюся вблизи высоту. Аракчеев, осмотрев конную выправку солдат, заметил беспорядок в расположении орудий. На вопрос его: „Так ли поставлены орудия на случай наступления неприятеля?“, Ермолов отвечал: „Я имел лишь ввиду доказать вашему сиятельству, как выдержаны лошади мои, которые крайне утомлены“. „Хорошо, – отвечал граф, – содержание лошадей в артиллерии весьма важно“. Это вызвало резкий ответ Ермолова в присутствии многих свидетелей: „Жаль, ваше сиятельство, что в артиллерии репутация офицеров зависит от скотов“. Эти слова заставили взбешенного Аракчеева возвратиться в город. – Это сообщено мне генералом Бухмейером».

Особенность ситуации заключается в том, что Аракчеев ничем не спровоцировал дерзость Ермолова. То, что он сказал, было совершенно резонно и ничуть для Ермолова не обидно. Но Ермолов – прежний Ермолов! – мгновенно сообразив, что фраза Аракчеева дает возможность саркастической реакции, не упустил случая хоть так отплатить за перенесенные несправедливости. Хотя и знал, что оскорблять Аракчеева, да еще прилюдно, – крайне опасно.

Возможно, некоторую роль сыграло то, что еще до этого Ермолов удостоился похвалы самого Александра, о чем с воодушевлением писал Казадаеву. Это было во время посещения императором Вильно. «Осматривал войска, Капцевича легион и мою когорту (характерна эта римская терминология. – Я. Г.); изволил объявить мне благоволение сам лично, говорил со мной и два раза повторил: очень доволен как скорою пальбою, так и проворством движения, приказал отменить некоторые маневры и изволил сказать, что о том прикажет Александру Ивановичу (очевидно, тот же Корсаков. – Я. Г.). Генерал-майору Маркову, Псковского полка пожаловал перстень. Капцевича баталионом, как все единогласно говорят, был доволен; мое учение изволил смотреть около полутора часа, а его ни четверти, из которого более половины говорил со мною. Капцевичу ничего, и как мы в одном месте и я кажусь под его начальством, то и мне ничего – все возлагают на него, а государь и после изволил отозваться о конной артиллерии милостиво».

Но был и другой Ермолов, о котором точно писал Дубровин в уже упомянутой нами биографии Алексея Петровича: «Сознавая, что репутация его после ссылки недостаточно еще окрепла, он страшился за свою будущность и смотрел на все довольно мрачными глазами. Руководимый этой идеей, он в некоторых случаях выказывал юношескую робость и даже ребяческую боязнь. Вот один из подобных случаев. Офицер его роты, некто К., проиграл 600 рублей казенных денег. Ермолов тотчас же арестовал его, взыскал деньги с выигравших и уступив просьбам, а главное, „избегая случая сделать ему несчастье, сам собою испытавши сколько тягостно переносить оное“, Алексей Петрович согласился не доносить о поступке офицера²²».

Но неожиданно ситуация сложилась таким образом, что противный закону поступок Ермолова, который обязан был отдать провинившегося офицера под суд, мог стать известен высшему начальству.

Решительный, дерзкий, самоуверенный Ермолов впал в панику.

Как и в других случаях, его подлинное состояние можно понять из писем Казадаеву: «Все обрывается на мне, для чего я скрыл его преступление и тотчас не донес по команде.

²² Военный сборник. 1869. № 11. С. 32.

<...> Вот, любезный друг, каково быть добросердечным! Ищешь способов сделать добро, радуешься, сделав оное, способствовать другим поставляешь то первым долгом и благополучием, а в награду обращается то самому во вред и наконец кончится тем, что сам потерпишь и всего лишишься. Страшно боюсь я хлопот; трехлетнее несчастье сделало меня робким».

«Сделало меня робким...» Вот он – другой Ермолов.

История с юным поручиком Комаровским, которого, судя по утверждению самого Ермолова, завлекли и обыграли более опытные люди, мучила Алексея Петровича и по другой причине. Он несколько раз возвращается к ней в письмах Казадаеву, горько сетуя, что он, сам того не желая, стал причиной тяжелого испытания для молодого офицера, – эта история в конце концов привела к тому, что Комаровского перевели в дальний гарнизон, в Кизляр, «за неспособностью». Это было не только обидно, но и ломало ему карьеру.

Дело в том, что, скрыв преступление поручика от высшего начальства, Ермолов тем не менее просил ближайшее начальство под любым предлогом перевести его в другую часть. К ужасу и Комаровского, и Ермолова, начальство выбрало этот простейший вариант.

И Ермолов умоляет Казадаева помочь Комаровскому.

Состояние неуверенности, тяжелой раздвоенности при внешней брутальной повадке продолжалось долго. Оно прошло только с событиями Двенадцатого года, да и то не до конца...

Павел Христофорович Граббе вспоминал эпизод 1810 года, когда он был уже адъютантом генерала Ермолова: «В начале этого года, не помню в котором месяце, Алексей Петрович Ермолов позвал меня из своего кабинета, с озабоченным видом подал мне только что распечатанное им официальное письмо от военного министра Барклая де Толли. Смысл содержания его был следующий. Имея в виду важное поручение, для которого нужен офицер с образованием, сведениями, некоторою опытностью и надежным поведением, он полагает, что адъютант его выбора должен соединять в себе эти качества и потому просит прислать его немедленно в Санкт-Петербург, где по прибытии он имеет явиться к дежурному генералу. Прочитав несколько раз это письмо и отдавая его Алексею Петровичу, я опять поражен был беспокойством, более усилившимся на его лице. Взглянув на меня заботливо, он спросил: не припомню ли я какой неосторожности, какого-нибудь необдуманного слова, сказанного в обществе или наедине кому-нибудь... Происшествия первой его молодости в царствование императора Павла сделали его недоверчивым».

Это очень значимое свидетельство. В 1810 году генерал Ермолов слишком хорошо помнил, сколько донощиков вдруг появилось вокруг него и его «старших братьев» в 1798 году. Он вполне допускает, что нечто подобное могло повториться и сейчас: «необдуманное слово», сказанное его адъютантом, могло дойти до Петербурга...

Опасения Ермолова не оправдались – Граббе ждало «употребление по военно-дипломатической части». Он был направлен военным агентом в Мюнхен. Но реакция Ермолова на внезапный вызов молодого офицера в столицу чрезвычайно характерна для его внутреннего состояния.

Разумеется, он прежде всего думал о судьбе Граббе, но обнаружившаяся неблагонадежность адъютанта – коль скоро это и в самом деле случилось бы – бросила бы тень и на его собственную репутацию, и без того безупречную.

Уже на Кавказе, на пике своей карьеры, он был обеспокоен тем, что два его любимых адъютанта лишены доверия высшей власти – тот же Граббе, который в 1822 году был смещен с должности командира Лубенского гусарского полка и отправлен в отставку, и генерал-майор Михаил Фонвизин, блестящий военный интеллектуал, которому Александр упорно не желал доверить командование строевой частью и решительно отказывал в назначении на Кавказ, о чем просил императора Ермолов. Но если Граббе сумел убедить и Алек-

сандра, и Николая в своей лояльности и кончил жизнь генералом от кавалерии, генерал-адъютантом, графом и членом Государственного совета, то Фонвизина ждали Петропавловская крепость и Сибирь...

Пока же подполковник Ермолов со страстью готовил свою роту к желанной войне, понимая, что в будущих сражениях он должен не просто достойно выполнить свой долг, но отличиться так, чтобы преодолеть предубеждение любого начальства и прославить свое имя.

4

Участие Ермолова в Наполеоновских войнах с 1805 по 1815 год ставит перед нами совершенно особую задачу, если исходить из того принципа, который был сформулирован в самом начале: смысл книги не в том, чтобы перечислить разнородные события жизни нашего героя, но в том, чтобы показать, как в его судьбе преломилась судьба империи...

Поэтому нам придется выбирать наиболее характерные для военной практики Ермолова эпизоды, дающие представление о его боевом стиле. В данном случае известная формула «стиль – это человек» вполне приложима к Ермолову-офицеру.

Для Ермолова война – при всем том, что уже было сказано, – не была самоцелью, а исключительно средством самореализации, путем к цели, которую он вряд ли решался ясно формулировать, настолько высока и опасна она была.

Забегая далеко вперед имеет смысл привести два эпизода, которые дают представление о масштабах этой цели, некий очерк мечты, которая вела Ермолова и не умирала, несмотря на все жизненные срывы и разочарования.

Дубровин, говоря о боевых успехах Ермолова и высочайших поощрениях, очень точно выразил суть дела: «В таких случаях своей жизни Ермолов находил некоторый исход и удовлетворение своему необъятному честолюбию...»

«Некоторый исход <...> необъятному честолюбию». Каков был бы полный исход, можно только догадываться.

«Необъятное честолюбие» и невозможность удовлетворить его в полной мере (вариант артиллериста Бонапарта) – горькое противоречие между самооценкой и своей реальной ролью – и формировали этот тяжело парадоксальный характер.

В 1834 году Павел Христофорович Граббе, уже генерал-майор и начальник драгунской дивизии, возвращаясь из Москвы к месту службы, заехал навестить Ермолова в его деревне. «Между прочими предметами разговора мне случилось ему сказать, что не должно терять надежды, что в важных обстоятельствах государь вспомнит об нем и вызовет на поле деятельности. На это он отвечал, что боится последствий долгого бездействия и следственно ошибок, важных в том звании, которое ему принадлежит – звании главнокомандующего».

«В том звании, которое ему принадлежит...»

Отправленный в отставку при оскорбительных для него обстоятельствах, исключенный из любой государственной деятельности Николаем, который не любил и боялся его, «закупоренный Николаем в банку», как сказал Тынянов, Алексей Петрович в случае новой войны видел себя только в одной роли – главнокомандующего одной из действующих армий...

Но еще до этого, в 1822 году, в разговоре с Александром он в ответ на откровенно провокационную шутку императора – которая по сути была вовсе не шуткой – позволил себе открыться, пожалуй, единственный раз в жизни. Но этого достаточно, чтобы понять характер его мечтаний.

Один из младших современников Ермолова зафиксировал со слов самого Алексея Петровича в высшей степени красноречивый эпизод: «Он рассказывал, что в 1821 году был назначен главнокомандующим стотысячной армией, долженствующей принять участие в

усмирении смут в Италии, волнуемой карбонариями. В Неаполе произошел мятеж, король вынужден был подписать конституцию. Вскоре Ермолов был вызван в Лайбах, в котором находились союзные монархи, для совещаний. Алексей Петрович находился при императоре. Во время обеда государь подавал разные знаки кн. Волконскому, сидевшему против него, указывая на его соседа. Волконский не мог понять пантомим императора и потому на вопрос его после окончания обеда отвечал, что не догадывается, что государь хотел ему сказать, указывая на Ермолова.

– Неужели ты не понял того, что я желал объяснить тебе, что Алексей Петрович, кажется, воображает, что на нем мантия и что он занимает уже первые роли.

Ермолов, стоявший невдалеке, не смущаясь, отвечал:

– Государь, вы нисколько не ошибаетесь, и если бы я был подданным какого-нибудь немецкого принца, то, конечно, предположение ваше было бы совершенно справедливо; но служба такому великому монарху, как вы, с меня довольно будет и второго места».

Это похоже на правду. Мы знаем и подозрительность Александра, и любовь Ермолова к острым реакциям. Но даже если Ермолов придумал этот эпизод или приукрасил свое поведение, то и в этом случае ситуация уникальна. Ни об одном из русских генералов, кроме Ермолова, – даже самых популярных и прославленных – император не сказал бы ничего подобного, и никому из них не пришло бы в голову придумывать подобные истории.

«Неограниченное честолюбие» и могучая самооценка Алексея Петровича создавали вокруг него только ему одному присущую атмосферу.

Заявлять о своей претензии на второе место в Российской империи было ничуть не менее вызывающе, чем скромно претендовать на роль узурпатора власти в одном из немецких государств.

Но это было через 16 лет, когда генерал от инфантерии Ермолов уже почувствовал вкус почти неограниченной власти над огромным краем. А пока что он упорно и терпеливо превращал свою конноартиллерийскую роту в идеальное орудие для быстрого продвижения по службе и жаждал войны.

Привыкший к триумфам Польской и Персидской кампаний, он достаточно туманно представлял себе возможности будущего противника. Впрочем, героически заблуждался отнюдь не он один...

Война

1

Война, о которой он мечтал, началась, и казалось, что очень вовремя...

Несмотря на всю свою целеустремленность, Ермолов страдал перепадами настроения. В 1804 году он, доведенный до отчаяния небрежением начальства, упорно не дававшего ему следующего чина, сделал чрезвычайно рискованный шаг, который мог погубить его карьеру. Он подал рапорт об отставке.

Это был не совсем обычный рапорт. Ссылаясь на расстроенное здоровье и имущественное положение семьи, – что было вполне традиционно, – Алексей Петрович объяснял желание отставки необходимостью находиться рядом с отцом. Но при этом, со свойственным ему сарказмом, он дал понять начальству истинную причину своего ухода. Он писал, что поскольку он уже семь лет состоит в чине подполковника, то будет разумно отставить его майором. Как он сам выразился в воспоминаниях: «Я думаю, что подобной просьбы не бывало и, кажется, надлежало справиться о состоянии моего здоровья!»

Имелось в виду здоровье психическое.

Рапорт попал к Аракчееву, инспектору всей артиллерии, и тот, поняв, разумеется, истинные мотивы рапорта и при всей своей антипатии к Ермолову не желая терять хорошего офицера, на которого к тому же обратил внимание император, посоветовал ему повременить с отставкой.

В начале войны состоялось личное знакомство Ермолова с Кутузовым. «Пришедши с ротою к Радзивиллову, я уже не застал армии и догонял ее ускоренными маршами, почему ехавшему из Петербурга генералу Кутузову попался я на дороге, и он, осмотрев роту, два уже месяца находящуюся в движении, одобрил хороший за ней присмотр, ободрил приветствием офицеров и солдат, расспросил о прежней моей службе и удивился, что, имевши два знака отличия времен Екатерины, я имел только чин подполковника, при быстрых производствах прошедшего царствования. Он сказал мне, что будет иметь меня на замечании...»

2

Планы коалиционного генералитета, австрийского прежде всего, категорически не совпали с планами Наполеона. Он вовсе не склонен был ждать, пока соединятся армии его противников. Рядом стремительных и точных маневров он рассек австрийские силы и окружил основную их часть под командованием генерала Мака в крепости Ульм и вынудил к сдаче.

Немногочисленная русская армия, к которой не успели еще подтянуться идущие из России войска, оказалась лицом к лицу с победоносной французской армией.

Ермолов кроме своей конноартиллерийской роты получил под начало еще и две роты пешей артиллерии. Это, безусловно, был признак доверия со стороны главнокомандующего Кутузова, но положение, в которое в результате он попал, Алексея Петровича отнюдь не устраивало. Его команда «осталась в особенном распоряжении главнокомандующего как резерв артиллерии. Сие особенное благоволение, привязывая меня к главной квартире, делало последним участником при раздаче продовольствия людям и лошадям, и тогда как способы вообще были для всех недостаточны и затруднительны, а мне почасту и вовсе отказываемы, то, побуждаемый голодом, просил я о присоединении моей команды к каким-нибудь из войск. Мне в сем было отказано».

Кутузов хотел иметь под рукой абсолютно надежную и боеспособную артиллерийскую часть с командиром, которому он доверял.

В тяжелых арьергардных боях конная рота Ермолова неизменно шла в дело и спасала положение.

Здесь выявилась едва ли не главная черта Ермолова – способность мгновенно оценивать ситуации и самостоятельно принимать решения, в том числе и рискованные, и стремительно их осуществлять.

Так было и 22 октября, в бою при Аштеттене, когда «Мариупольского гусарского полка подполковник Ингельстром, офицер блистательной храбрости, с двумя эскадронами стремительно врезался в пехоту, отбросив неприятеля далеко назад, и уже гусары ворвались на батарею. Но одна картечь – и одним храбрым стало меньше в нашей армии. После смерти его рассыпались его эскадроны, и неприятель остановился в бегстве своем». То, что идет далее, снова возвращает нас к тому культу дружбы, который играл такую роль в жизни молодого русского дворянства того времени: «За два дня перед тем, как добрые приятели, дали мы слово один другому воспользоваться случаем действовать вместе, и я, лишь узнал о данном ему приказании атаковать, бросился на помощь с конною моею ротою, но уже не застал его живого и, только остановив неприятеля движение, дал способ эскадронам его собраться и удержаться на месте. Я продолжал канонаду...»

Заметим – приказ атаковать получил Ингельстром, а Ермолов бросился в бой без приказа – по собственной инициативе, будучи верен дружескому слову...

Для первых боевых ермоловских эпизодов 1805 года, его первой большой европейской войны, характерно стремительное порывистое индивидуальное действие.

Особое положение роты и высокая маневренность конной артиллерии способствовали выявлению этой черты боевой идеологии Ермолова.

Недаром его кумиром становится Багратион, хотя через много лет в мемуарах он не раз отзывался о князе Петре Ивановиче весьма критически.

Но характеристики русских генералов, данные Ермоловым в мемуарах, – особая тема, тесно связанная с анализом характера зрелого Ермолова.

К этому мы со временем придем.

3

Катастрофа под Аустерлицем, которая определила для многих русских офицеров психологический ландшафт всего десятилетия с 1805 по 1815 год, оказалась для русской армии, привыкшей к победам и ощущавшей себя наследницей громкой славы Румянцева и Суворова, полной неожиданностью.

Решающему сражению предшествовали длительные маневры, ожесточенные бои тактического значения, в которых французы далеко не всегда одерживали верх. Боевые качества русских солдат и офицеров, решительность лучших генералов, выучеников Суворова, таких как Багратион и Милорадович, да и сам главнокомандующий Кутузов, концентрация русско-австрийских войск, не уступавших по численности армии Наполеона, а то и превосходивших ее, – все это давало верную надежду на успех.

Конноартиллерийская рота Ермолова была придана кавалерийской дивизии генерала Уварова, шедшей в авангарде.

Наполеон, несмотря на несколько громких побед над австрийцами, еще не был тем непобедимым Наполеоном, чья шляпа, по угрюмой шутке Веллингтона, стоила на поле сражения больше, чем 30 тысяч солдат.

«Битва трех императоров», как называли впоследствии Аустерлиц, поскольку во главе армий стояли императоры французский, русский и австрийский, оказалась триумфом не

только стратегического искусства Наполеона, но и образцом его умения вести психологическую игру с противником. В канун битвы он сумел создать у русских и австрийцев ясное впечатление, что француз выдохся и смертельно боится сражения.

Фарс удался. Отправленный для переговоров князь Долгорукий все принял за чистую монету и убедил Александра, что Наполеон предчувствует неминуемое поражение и надо немедленно атаковать.

Аустерлицкая катастрофа осталась для Ермолова на всю жизнь свидетельством того, что война не терпит застывших схем и тем подобна самой жизни.

Между тем Наполеон разработал план операции, который станет классическим и основным принципом наполеоновской тактики на полях сражений.

Его лапидарно и исчерпывающе изложил граф де Сегюр, французский генерал и военный историк, участник событий: «В то время как наши левый и особенно правый фланги, отодвинутые к заднему углу долины, по которой все глубже наступает на них неприятель, стойко держатся, – в центре, на вершине плоскогорья, где союзная армия, растянувшись влево, подставляет нам ослабленный фронт, мы обрушиваемся на нее стремительной атакой. Благодаря этому маневру оба неприятельских фланга внезапно окажутся отрезанными друг от друга. Тогда один из них, атакуемый с фронта и расстроенный нашей победой в центре, должен будет отступить, между тем как другой, слишком выдвинувшийся вперед, обойденный, парализованный той же победой в центре и запертый среди прудов в той ловушке, куда мы его заманили, будет частью уничтожен, частью взят в плен»²³.

Это станет излюбленным приемом Наполеона: демонстративное, но сильное давление на один из флангов, с тем чтобы противник израсходовал резервы, затем мощный прорыв центра с выходом в тылы вражеской армии. Так было и при Бородине: сокрушительное давление на левый фланг русской армии, Семеновские флеши, а затем таранный удар по центру – захват Курганной батареи...

Через много лет Ермолов, располагавший не только уникальной памятью, но и прочной документальной базой, своим ясным римским стилем очертил ситуацию с четкостью и выразительностью подлинного военного профессионала.

«Еще до рассвета выступила армия, опасаясь, по-видимому, чтобы неприятель не успел уйти далеко. Войска на марше должны были войти в места по диспозиции для них назначенные, и потому начали колонны встречаться между собой, проходить одна сквозь другую, отчего произошел беспорядок, который ночное время более умножало. Войска разорвались, смешались, и конечно не в темноте удобно им было отыскивать места свои. Колонны пехоты, состоящие из большого числа полков, не имели при себе ни человека конницы, так что нечем было открыть, что происходит впереди, или узнать, что делают и где находятся ближайшие войска, назначенные к действию...

С началом дня, когда полагали мы себя в довольном расстоянии от неприятеля и думали поправить нарушенный темнотою ночи порядок, мы увидели всю Французскую армию в боевом порядке, и между нами не было и двух верст расстояния.

Из всего заключить можно, сколько достоверные имели мы известия об отступлении неприятеля и чем обязаны премудро начертанной австрийской диспозиции... Когда же перешли мы болотистый и топкий ручей, и многие из колонн вдalis в селения, лежащие между озер по низменной долине, простирающейся до подошвы занимаемых неприятелем возвышенностей, когда обнаружили все наши силы и несоразмерные между колонн промежутки, – открылся ужасный с батареей огонь, и неприятель двинулся к нам навстречу, сохраняя всегда выгоду возвышенного положения. Некоторые из колонн наших в следовании их были атакованы во фланг и не имели времени развернуться, другие, хотя и устроили полки

²³ История XIX века. Т. I. М., 1938. С. 127.

свои, но лишены будучи содействия и помощи других войск, или даже окруженные, не могли удержаться против превосходящих сил, и в самое короткое время многие части нашей армии приведены были в ужаснейшее замешательство... И так с одного крыла до другого войска наши по очереди, одни после других, были расстроены, опрокинуты и преследуемы. Потеря наша наиболее умножилась, когда войска наши стеснились у канала чрезвычайно топкого, на котором мало было мостов, а иначе как по мосту, перейти оный было невозможно. Здесь бегущая конница наша бросилась вброд и потопила много людей и лошадей, а я, оставленный полками, при которых я находился, остановил свою батарею, предполагая своим действием оной удержать преследующую нас конницу. Первые орудия, которые я мог освободить от подавляющей их собственной кавалерии, сделав несколько выстрелов, были взяты, люди переколоты, и я достался в плен».

Но и на этот раз «счастье благоприятствовало» Ермолову. Гусарский полковник Шау с несколькими драгунами догнал группу французов, уведивших Ермолова, и отбил его у самых передовых линий противника.

«Присоединясь к остаткам истребленной моей роты, нашел я дивизию в величайшем беспорядке у подошвы холма, на коем находился государь. Холм занят был лейб-гренадерским полком и одной ротой гвардейской артиллерии, которые не участвовали в сражении и потому сохранили устройство. При государе почти никого не было из приближенных, на лице его изображалась величайшая горесть, глаза были наполнены слезами».

Для Ермолова сражение на этом не кончилось. «На прямейшей дороге к городу Аустерлицу, через который должны были проходить наши войска, учрежден большой пост, который поручен мне в команду, вероятно потому, что никто не желал принять сего неприятного назначения. <...> Я с отрядом своим обязан спасением тому презрению, которое имел неприятель к малым моим силам, ибо в совершеннейшей победе не мог он желать прибавить несколько сотен пленных... Я должен был выслушивать музыку, песни и радостные крики в неприятельском лагере, нас дразнили русским криком „ура!“». Пред полуночью я получил приказание отойти, что должно было последовать гораздо прежде, но посланный офицер ко мне не доехал. В городке Аустерлице, давшем имя незабвенному сражению, нашел арриергард князя Багратиона, который не хотел верить, чтобы могли держать меня одного в шести верстах впереди и не восхитился сим распоряжением генерал-адъютанта Уварова. Прошедши далее еще четыре версты, прибыл я к армии, но еще не все в оной части собраны были и о некоторых не было даже известия; беспорядок дошел до того, что в армии, казалось, полков не было: видны были разные толпы. Государь не знал, где был главнокомандующий генерал Кутузов, а сей беспокоился насчет государя».

Мемуары были написаны через много лет после Аустерлица, но Ермолов, несмотря на стилистическую сдержанность, удивительно живо передает горькую растерянность, охватившую русскую армию – от императора до простого солдата.

Воспоминания Ермолова, по видимости повествовательно-объективные, на самом деле насквозь идеологичны и, если угодно, философичны. Он работал над ними на Кавказе, во второй половине своего пребывания там, – в первые годы ему было не до мемуаров, – когда и этот, желанный, казалось бы, прорыв не принес тех результатов, на которые он рассчитывал, затем, обрабатывая их в отставке, несправедливой и оскорбительной, Алексей Петрович сводил счеты не столько со своими недругами, сколько с историей.

Он предъявлял счет не конкретным людям, но историческим обстоятельствам, мешавшим ему достойно делать свое дело и в конечном счете занять подобающее место.

Ермолов так тщательно выписывает всё безумие, бестолковость, бездарность происшедшего не только для того, чтобы обвинить начальствующих. Он говорит о зловеще таинственной подоплеке процесса, в который он был вовлечен. Он говорит о судьбе.

Он с изумлением пишет о поведении своих товарищей после отступления армии в Венгрию: «Были даны два праздника и, к удивлению, находились многие, которые могли желать забав и увеселений после постыднейшего сражения и тогда, как неприятель должен был найти поражение и гибель».

Французы должны были потерпеть поражение и погибнуть. Должны были! Почему этого не произошло?

«Я не описал Аустерлицкого сражения с большою подробностью, ибо сопровождали его обстоятельства столько странные, что я не умел дать ни малейшей связи происшествиям. Случалось мне слышать рассуждения о сем сражении достойных офицеров, но ни один из них не имел ясного о нем понятия, и только согласовались в том, что никогда не были свидетелями подобного события».

Ермолов не говорит об ошибках командования. Он говорит о необъяснимой странности происшедшего, суть которого недоступна даже его ясному и сильному уму.

Разумеется, при желании он мог проанализировать бездарную диспозицию, подготовленную австрийским штабом, оценить преступную самоуверенность гвардейской молодежи, окружавшей Александра, его, Александра, военный дилетантизм, ошибки отдельных командиров и сделать совершенно конкретные выводы. Причины аустерлицкой катастрофы отнюдь не были неразрешимо загадочны.

Он предпочел придать этому сражению, в котором потерял свою роту – и людей, и орудия, и сам чудом избежал плена, вернее, побывал в кратковременном плену, – он предпочел придать происшедшему почти мистический смысл.

Тому могли быть две причины.

Во-первых, его взгляд на мир – на мир войны, в частности, – глубже и драматичнее, чем у большинства его товарищей. Они могли веселиться, а он не мог, ибо ощущал мучительный стыд – «постыднейшее сражение». Едва ли не ключевое определение. Во-вторых, – для него, воспитавшего себя на Плутархе, Цезаре, Ариосто, с его рыцарским пафосом, чудовищный разгром стал тяжким потрясением. Ему не хватало войны. Он жаждал войны, которая должна была вернуть потерянное за годы опалы. И что получилось?

«В непродолжительном времени вышли за прошедшую войну награды. Многие весьма щедрые получили за одно сражение при Аустерлице; мне за дела во всю компанию дан орден св. Анны второй степени, ибо ничего нельзя было дать менее».

Хотя нет оснований сомневаться, что он проявил свою всегдашнюю абсолютную отвагу и тактическое мастерство.

Главнокомандующий Кутузов счел нужным это подтвердить.

«Аттестат.

1-го конноартиллерийского батальона подполковнику Ермолову в том, что сентября 4-го числа, 1805 года, видел я его роту, с которою он, по Высочайшему повелению спешил соединиться с армиею, шел без растахов (то есть без отдыха. – Я. Г.), люди и лошади были здоровыми, артиллерия исправна. Соединясь с армиею, Высочайше мне вверенною, лошадей имел в хорошем теле, больных в роте его людей не было (не зря, стало быть, Ермолов „резался“ в Вильно с Капцевичем за полноценное пополнение. – Я. Г.); в сражениях, во время минувшей компании, действовал артиллериею с отличным искусством и расторопностью, за что всеподданнейше представлен мною Государю Императору ко Всемиловитейшему награждению. Во свидетельство того дан сей, за подписом моим и с приложением герба печати, в Главной Квартире, в Дубне, Февраля 19 дня, 1806 года».

Кроме ордена он получил наконец-то и полковничий чин, прохордив девять лет в подполковниках. Получил по личному настоянию Кутузова и Ф. П. Уварова, лично наблюдавшего Ермолова в деле. Но не этого ожидал он от вожделенной войны.

Война – концентрат исторической энергии – обманула и показала свою зловещую алогичность. Для двойственной натуры Ермолова – артиллерист-математик и рационалист, одаренный вместе с тем «пылкой натурой» и возбужденным воображением, – это было особенно тяжело.

Но другого пути у него не было. Он стал готовиться к следующей войне.

4

Для Ермолова предстоящая война имела особое значение. Он получил чин полковника. На него обратил внимание император. Он блестяще проявил себя в качестве артиллериста, что официально было засвидетельствовано Кутузовым. Его узнали в армии.

Теперь оставалось сделать решительный рывок – появилась возможность «подвига». То, о чем они с Каховским мечтали в унылые виленские времена.

Тем более что полковник Ермолов был уже не командир роты, но получил в подчинение 7-ю артиллерийскую бригаду в дивизии генерал-лейтенанта Дорохова.

Пруссия объявила войну Франции, а в начале октября 1806 года одна из двух переформированных русских армий под командованием генерала Беннигсена перешла Неман и двинулась на соединение с пруссаками.

Вторая армия под командованием генерала Буксгевдена выступила позднее и вступила в пределы Пруссии в конце ноября.

Но к этому времени судьба Пруссии была уже решена.

Искусно маневрируя, Наполеон заставил пруссаков растянуть свои силы. 14 октября при Йене он разгромил одну часть прусской армии, причем почти в точности повторилась ситуация Аустерлица. В тот же день маршал Даву под Ауэрштедтом, имея 26 тысяч штыков и сабель, разбил вдвое превосходящую его армию пруссаков. Причем ему удалось не только разгромить противника, но и заставить его бежать в направлении Йены.

Русские армии остались один на один с победоносным Наполеоном.

Ермолов в мемуарах несколькими фразами представил падение Пруссии: «Наполеон, лично предводительствуя сильною армиею, при городке Ауэрштедте совершенно разбил прусские войска. Сражение неудачнее было потерянного австрийцами при Ульме. Также потеряна была вся почти артиллерия и в плену было необыкновенно большое число войск. Преследуемые остатки армии или рассеяны или принуждены сдаться... Лучшие крепости взяты и некоторые даже без сопротивления... Мгновенно пала слава войск, преодолевших страшный союз могущественнейших в Европе государей».

Александра, однако, не оставляла надежда разбить Наполеона и тем самым смыть позор Аустерлица и восстановить европейское равновесие.

Армиям Беннигсена и Буксгевдена приказано было соединиться и продолжать военные действия.

Оценивая ретроспективно в мемуарах тогдашнее положение дел, Алексей Петрович охарактеризовал его весьма критически: «В Белостоке сошлись армии, и начальствующие ими, не будучи приятелями прежде, встретились совершенно злодеями. Никогда не было согласия в предприятиях, всегдашняя нестройность в самых ничтожных распоряжениях, и в таком состоянии дел наших ожидали мы прибытия неприятеля, ободренного победами».

Надо ясно представлять себе положение в русской армии, где при отсутствии решительного командующего немалую роль в успехе или неуспехе боевых действий играли взаимоотношения между генералами.

Взаимная острая неприязнь Беннигсена и Буксгевдена, тяжело отражавшаяся на судьбе кампании, была лишь одним из примеров этого прискорбного явления – печального наследия Екатерининской эпохи с ее соперничеством «сильных персон» и удачливых полководцев. Но

если при Екатерине это имело политический смысл, исключая возможность возникновения объединенной оппозиции, то при Александре игра честолюбий и самолюбий, без всякой политической подоплеки, оказалась сколь бессмысленной, столь и пагубной.

Кампания началась крайне неудачно для русских. Хотя главнокомандующим над обеими армиями, таким образом превратившимися в одну, назначен был фельдмаршал граф Михаил Федорович Каменский, обладавший большим боевым опытом и отличившийся во всех турецких войнах, положения это, однако, не спасло. Каменский при несомненных достоинствах отличался и большими странностями. Относительно его действий в 1806 году существуют противоположные мнения.

Ермолов в воспоминаниях писал: «В сие время прибыл к командованию обеими армиями генерал-фельдмаршал граф Каменский. Опытный начальник при первом взгляде увидел, сколько опасно положение войск наших, рассыпанных на большом пространстве, тогда как неприятель имел свои силы в совокупности... Он приказал поспешнее собрать войска. Близость неприятеля не допускала сделать того иначе, как отступивши на некоторое расстояние».

Ермолов был свидетелем и участником событий. Как мы знаем, он с почтением относился к Беннигсену. Но в данном случае его версия благоприятна Каменскому.

В знаменитой «Военной энциклопедии» издания Сытина ситуация излагается по-иному: «Прибыв к армии, он (Каменский. – Я. Г.) отверг предложенный Беннигсеном план сосредоточения сил, а вместо того начал осуществлять весьма нецелесообразный собственный план, приведший к разброске наших войск. Распоряжения Каменского привели сперва к ряду частных неудач, а потом и к поражению под Пултуском».

Кому верить?

В столкновениях, которые автор относит к числу «частных неудач», принимал участие и Ермолов. Он вспоминает отряд генерала Чаплица, который не был отрезан от основных сил и не был уничтожен только благодаря счастливому стечению обстоятельств: «При сем отряде находился и я с тремя ротами артиллерии и легко мог видеть, что направление его на Цеханов не приносило никакой пользы, но было следствием одного неблагоприятного распоряжения графа Буксгевдена». Таким образом, распылял войска, по Ермолову, отнюдь не Каменский, совершенно наоборот: «Фельдмаршал, узнав о том и сделав строгое замечание за нелепое раздробление сил, приказал отряду немедленно возвратиться, но мы уже были на месте и утомленные грязною чрезвычайно дорогою не могли тотчас выступить обратно».

Отряд Чаплица, а соответственно, и роты Ермолова спас генерал Пален, который до ночи сдерживал превосходящие силы противника и дал возможность Чаплицу выскользнуть из ловушки.

Ермолов был прав, когда писал: «Счастье мне благоприятствовало...»

Из воспоминаний Алексея Петровича, который, как правило, достаточно точно воспроизводил чисто военные ситуации, можно понять, почему Каменскому не удалось сосредоточить войска: «Армия наша чрезвычайно нуждалась в продовольствии, и единственную пищу составлял картофель, который надобно было отыскивать вдалеке и терпеть для того отлучки большого числа людей. Нередко войска направляемы были не туда, где присутствия их требовали обстоятельства, но где надеяться можно было сыскать несколько лучшее продовольствие. Повсюду селения были пусты, глубокая осень и непрерывные дожди разрушили дороги, и без пособия жителей не было средств сделать подводы».

Это было уже второе тяжкое отступление, пережитое Ермоловым за последний год. Желанная война оборачивалась своей далеко не романтической изнанкой.

Но его это не пугало...

14 декабря (по старому стилю, естественно) Алексей Петрович со своими орудиями снова оказался на краю гибели. Это было при местечке Голиimine, куда отступил для соединения с другими частями отряд Чаплица.

Тут Ермолову явно изменила память, и он утверждает, что русским пришлось сражаться с кавалерией Мюрата. Кавалерия в бою участвовала, но главной атакующей силой были пехотные полки маршалов Ожеро и Даву.

Дэвид Чандлер, располагавший документами и мемуарами участников, после описания сражения при Пултуске, пишет: «В тот же самый день произошёл ещё один ожесточённый бой у Голимина, где Даву и Ожеро с 38 200 солдатами схватились с 18-тысячным авангардом Буксгевдена, но безрезультатно. Авангардом командовали князь Голицын и генерал Дохтуров. <...> Как и следовало ожидать, из-за численного превосходства победа досталась французам, но Марбо рассказывает об одном случае, ярко показавшем непоколебимую храбрость и решительность русской пехоты, достойно выполнившей свою задачу. Войска Ожеро атаковали деревню с одной стороны, а с другой – Даву угрожал перерезать связь русских с Пултуском, и Голицын приказал своим солдатам сосредоточиться именно здесь. „Наши солдаты стреляли по русским с расстояния только двадцати пяти шагов, – вспоминает Марбо, – они продолжали двигаться через фронт Ожеро, не отвечая огнём, потому что иначе им пришлось бы останавливаться, а для них было дорого каждое мгновение. Каждая дивизия, каждый полк проходили колоннами по двое под нашим обстрелом, не говоря ни слова и ни на мгновение не замедляя шага. Улицы Голимина были завалены умирающими и ранеными, но мы не слышали ни единого стога“»²⁴.

Ермолов до конца жизни остался в уверенности, что бой при Голиimine можно было выиграть, если бы не хаотическое командование. Его ум артиллериста-математика неизменно анализировал происходящее, отыскивая упущенные возможности, а темперамент не давал мириться с поражениями и прощать промахи генералов: «По старшинству, думать надобно, командовал с нашей стороны генерал Дохтуров, но справедливее сказать, не командовал никто: ибо когда послал я бригадного адъютанта за приказанием, он, отыскивая начальника и переходя от одного к другому, не более получаса времени был по крайней мере у пяти генералов и ничего не успел испросить в разрешение».

А «испросить» было что.

Под давлением сильнейшего противника русские батальоны отходили без определённой системы, и Ермолов с его артиллерией, бывшей по наступающим французам до последнего, рисковал остаться в одиночестве: «Долго не смел я отступать без приказа, но не видя необходимости оставаться последним, согласил я подполковника князя Жевахова с двумя эскадронами Павлоградского гусарского полка идти вместе... Пройдя местечко Голимин, взял я направление на местечко Маков».

Русские части, отступая, теряли в непролазной грязи артиллерию: «Той же участи должна была подвергнуться и моя рота; но, захватя выпряженных лошадей, брошенных от рота, я избавился от стыда лишиться орудий без выстрела».

Полковник Ермолов был верен себе – он уходил с позиции только тогда, когда оставаться на ней не имело смысла, и единственный не терял орудий.

5

Очевидно, в это время стало складываться его парадоксальное отношение к Наполеону, столь значимое для его будущей жизненной стратегии.

²⁴ Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. М., 2000. С. 324.

Раджицкий, бывший в то время молодым офицером, точно сформулировал это двойственное восприятие русскими военными своего грозного противника: «Он был врагом всех наций Европы, стремясь поработить их своему самодержавию, но он был гений войны и политики: гению подражали, а врага ненавидели».

Врага ненавидели, а гению подражали... Это надо запомнить.

Ермолов, как и многие молодые русские честолюбцы, не мог не восхищаться стремительной карьерой коллеги-артиллериста и настороженно обдумывать его опасный опыт. Но в силу своей особенности он внутренне готов был к более радикальным выводам, чем его товарищи по оружию. Причем вряд ли выводы эти были ясно оформлены и ориентированы на захват государственной власти. Он был слишком умен, чтобы не понимать разницу положений.

В 1806 году его увлек прежде всего именно военный гений Наполеона.

Ермолова, получившего еще недавно политическое воспитание в компании потенциальных цареубийц – «старших братьев» из «канальского цеха», вряд ли смущала незаконность, нелегитимность власти императора французов. Но теперь Наполеон предстал перед ним как великий мастер дела войны, самого достойного дела в мире.

Горько сетуя на неразбериху под Голимином, Ермолов писал: «...простителен ли подобный просчет, когда употреблены на то средства в три раза более тех, что имел неприятель? Надобно было видеть, что бы с таковыми сделал Наполеон».

Последняя фраза многозначительна – признание несомненного превосходства этого «чудного вождя».

И в это же время рождается уверенность, что, несмотря ни на что, усвоив полученные уроки, Наполеона можно победить. Уверенность, которая не в последнюю очередь определила загадочное, можно сказать иррациональное, поведение начальника штаба 1-й армии летом 1812 года...

Теперь же при отступлении Ермолов в очередной раз продемонстрировал приверженность решительным и жестким действиям, неожиданным для неприятеля и смущающим собственное командование: «Оставлен был арриергард в команде генерал-майора Маркова для прикрытия армии, переходящей за реку. До самой ночи с чрезвычайною медленностию продолжалось ее движение. В беспорядке теснились обозы на длинном мосту, а уже неприятель, вышедший из окружающих лесов, в больших силах занял позицию недалеко от местечка.

Нельзя было в короткое время разрушить мост, и потому опасно было, чтобы неприятель, пользуясь темнотою ночи, не овладел им. С позволения начальника послал я команду и приказал ей зажечь два квартала, принадлежащие к месту, дабы осветить приближение неприятеля, если бы покусился он на оный. Два раза подходили его войска и в некоторых местах осматривали броды, но большая часть сорока орудий, которыми я командовал, употреблены были на защиту оных, и нетрудно было успеть в том».

В качестве факелов, освещавших подходы к реке, использованы были дома мирных жителей, и пушки Ермолова, скрытые в темноте и неуязвимые для неприятельских выстрелов, косили французов, оказавшихся на озаренном пожаром пространстве. «Потеря от канонады должна была быть значительной...»

В те благословенные времена жечь во имя боевой целесообразности жилые дома было не очень принято, тем более что русские войска находились на дружественной им территории: «Мне грозили наказанием за произведенный пожар, в главной квартире много о том рассуждали и находили меру жестокою. Я разумел, что после хорошего обеда, на досуге, а особливо в 20 верстах от опасности, нетрудно щеголять великодушием. Вняли однако же моим оправданиям».

Возрастающее уважение к гению Наполеона сочеталось в это время с возрастающим недоверием к своим военачальникам.

Нужно постоянно держать в памяти свидетельства об особенностях характера и стиле поведения молодого Ермолова, о мощном честолюбии и сознании превосходства над окружающими которого писали едва ли не все, близко его знавшие.

И еще одно, безусловно, понял 29-летний полковник: его страна не что иное, как военная империя, живущая по соответствующим законам, как некогда жила по этим законам великая Римская империя.

Духом войны был пропитан воздух, которым он дышал.

Иначе и быть не могло. Вся его молодость к этому времени прошла на фоне больших и малых войн, которые вела Россия.

Ощущение своей органичной принадлежности к постоянно воюющей победоносной державе, где громкая слава достигалась только путем боевого подвига, осознание своего военного профессионализма, подкрепленное суровым опытом, в сочетании с известными чертами личности Ермолова, порождали то высокомерие, не поколебленное даже горькими уроками 1805–1806 годов, которое заставляло многих опасаться и недолюбливать его.

Это давнее ощущение своего превосходства, подавленное арестом, ссылкой, рутинной и бесперспективной службой после освобождения, теперь, когда Ермолов смог проявить себя на поле боя, вернулось в полной мере.

Конечно, воспоминания сочинялись через десять с лишним лет после описанных событий, но генерал от инфантерии Ермолов, скорее всего, точно воспроизводил мироощущение полковника Ермолова, его презрительно-ироническое отношение к генералам, его окружавшим.

Пассаж о великодушии после сытного обеда в 20 верстах от поля боя – выразительное тому свидетельство.

Он писал об одном из двух командующих – Буксгевдене: «Если не понимать сего, не надо братья за командование армией».

Он не сомневается, что на месте генералов выбрал бы куда более рациональные решения: «Неустрашимый генерал Барклай де Толли, презирая опасность, всюду находился сам; но сие сражение не приносит чести его распорядительности; конечно, не мудрено было сделать что-нибудь лучшее!»

Иронически отзывается он и о храбреце Милорадовиче.

Денис Давыдов утверждает, что многие генералы, страдавшие от сарказмов полковника Ермолова, мечтали, чтобы его произвели в генералы, и он бы стал лояльнее.

Отступление русской армии после Пултуска напоминало Ермолову закончившуюся аустерлицкой катастрофой кампанию 1805 года. Отряд генерала Маркова, которому придана была бригада Ермолова, не раз оказывался на краю гибели: «Неприятель под сильным огнем своих батарей теснил остальную часть авангарда, и мы отступали шаг за шагом. Артиллерия наша не делала других выстрелов кроме картечных». Это означает, что приходилось отбиваться от вплотную подходившего противника.

Ермолова постоянно преследовал ужас потери орудий. Это было несовместимо с представлением о «подвиге». Они отступали через лес, по глубокому снегу и незамерзшим болотам. Чтобы орудия не завязли, пришлось решиться на весьма рискованный маневр – пройти рядом с расположившимися на ночлег французами. Маневр себя оправдал – потери от ружейного огня оказались невелики. Преследовать русский отряд в темноте французы не стали. Ермолов привел к основным силам все свои орудия.

Зимняя кампания с бесконечными мучительными – особенно для артиллерии – маршами по отвратительным польским и прусским дорогам изматывала обе армии.

Особенно страдали непривычные к восточноевропейской зиме французы. Снабжать армию продовольствием становилось все труднее. Дело дошло до того, что маршалы стали перехватывать друг у друга обозы с провиантом. Солдаты большими массами разбредались по окрестным поселениям и мародерствовали.

Наполеон понял, что необходима пауза.

29 декабря, через три дня после Пултуска и Голимина, он написал своему военному министру: «Ужасные дороги и плохая погода вынудили меня встать на зимние квартиры».

Была и еще одна причина – отчаянное сопротивление русских, яростно огрызавшихся при отступлении и не дававших навязать себе решающее сражение.

Наполеон уехал в Варшаву, оттянув в окрестности польской столицы свои основные силы. В непосредственной близости от русской армии остался корпус Бернадотта.

Однако Беннигсен, официально заменивший Каменского на посту главнокомандующего, не собирался ждать весны и сопутствующей ей распутицы. Он мечтал о лаврах победителя Наполеона.

Надо помнить, что Ермолов был близок с Беннигсеном со времен своей юности, а честолюбивая уверенность опытного и решительного генерала, без сомнения, оказывала влияние и на то, как оценивал Алексей Петрович перспективу противоборства с Наполеоном.

2 января состоялся военный совет, на котором Беннигсен представил свой план грядущей кампании. Он рассчитывал внезапным наступлением в столь неблагоприятное время года застать врасплох французские войска, разбросанные по обширному пространству, оттеснить их на запад и вывести армию на выгодные для весеннего наступления исходные рубежи.

К середине января русскому командованию удалось сосредоточить в Северной Польше до шестидесяти тысяч штыков и сабель при многочисленной артиллерии. К русским присоединился тринадцатитысячный прусский корпус.

14 января Беннигсен начал наступление. Корпус Бернадотта и в самом деле был бы захвачен врасплох, если бы не столь частая на войне случайность. Недалеко от французских биваков русские колонны наткнулись на выдвинувшиеся далеко вперед от мест своей дислокации части корпуса Нея, которым в этих местах находиться вовсе не полагалось. Но они рыскали в поисках провианта.

Бернадотт успел подготовиться к столкновению.

Оценив ситуацию, Наполеон составил план разгрома русской армии: Бернадотт, отступая, заманивал Беннигсена в ловушку, в то время как остальные корпуса французской армии стали стремительно сосредоточиваться.

В свою очередь, русскую армию спасла такая же случайность.

Начальник штаба французской армии маршал Бертье всегда дублировал рассылаемые в корпуса приказы, и одна из копий приказа Бернадотту, содержавшая план действий, была отправлена с молодым неопытным офицером, который заблудился в польских лесах и был схвачен казаками. Бумаги были доставлены Багратиону, командовавшему авангардом, а он переслал их Беннигсену.

Ермолов писал: «Особенное счастье дало нам в руки сего курьера, ибо иначе следовавшая по одной дороге наша армия, не в состоянии будучи собраться скоро, или разбита была бы по частям, или, по крайней мере разрезана будучи в каком-нибудь пункте, принуждена к отступлению, удаляясь от своей операционной линии и всех сделанных запасов. В сем последнем предположении спаслась бы лишь одна та часть войск, которая до того недалеко перешла Либштадт; все прочие, оторванные от сообщений с Россией и непременно отброшенные к морю, подверглись бы бедственным следствиям или необходимости положить оружие».

Снова началось тяжелое отступление с наседавшим на арьергард неприятелем. Постоянно возникали ситуации критические: «7-я дивизия генерал-лейтенанта Дорохова, которую закрывал арьергард, шла в большом беспорядке, обозы ее стесняли позади дороги, и мы, беспрестанно занимая позиции и весьма мало удаляясь, дрались до самой глубокой ночи. <...> Артиллерия была весь день в ужасном огне, и если бы перебитых лошадей не заменяли гусары отнятыми у неприятеля, я должен был бы потерять несколько орудий. Конную роту мою, как наиболее подвижную, употреблял я наиболее. Нельзя было обойтись без ее содействия в лесу, и даже ночью она направляла свои выстрелы или на крик неприятеля, или на звук его барабана. Войска были ею чрезвычайно довольны, и князь Багратион отозвался с особенною похвалою».

Именно в этой кампании высоко возрос авторитет Ермолова как артиллерийского офицера, бесстрашного и искусного, умеющего организовать взаимодействие своих артиллеристов с другими родами войск и не терявшегося в любых обстоятельствах, а главное, готового, рискуя собой, защитить соратников огнем своих орудий.

Багратион, на глазах которого сражался Ермолов, не мог этого не оценить.

6

Бесконечные маневры, частные, но яростные и кровопролитные бои, польские дремучие леса, снега и морозы изнуряли обе армии. И та и другая желали решающего сражения.

Ситуация сложилась парадоксальная. Русский штаб оказался полностью в курсе замыслов противника, тем более что летучие казачьи отряды перехватили еще семерых французских курьеров, которые везли дубликаты все того же наполеоновского приказа Бернадотту. А Наполеон был в полной уверенности, что план его выполняется. Бернадотт же вообще ничего не знал.

Беннигсен, который, по выражению военного историка и теоретика генерала Жомини, «слепо неся навстречу своей гибели», немедленно начал отступать, подыскивая сильную позицию для решающего сражения.

Только тогда Наполеон осознал, что происходит. Он писал в Париж своему министру иностранных дел Талейрану: «Теперь очевидно, что он (Беннигсен. – Я. Г.) понял наши маневры, хотя и с некоторым трудом, и хочет спастись, – факт, заставляющий меня думать, что он знает о наших планах».

После ожесточенного столкновения у городка Ионкова, когда начавшуюся было битву прекратила ранняя зимняя темнота, Беннигсен, неудовлетворенный позицией, увел русские колонны.

При этом французы захватили большие склады с продовольствием, что значительно облегчило положение страдающих от усиливающихся морозов солдат.

Апофеозом этой тяжелейшей для обеих армий кампании стало долгожданное сражение при Прейсиш-Эйлау, подтвердившее уверенность Ермолова в уязвимости Наполеона, а потому особенно для нас существенное.

При поверхностном взгляде кампания 1806–1807 годов представляется рядом крупных сражений, между тем как это были непрерывные боевые действия, а крупные сражения только венчали время от времени этот кровавый процесс.

Прейсиш-Эйлау было событием из ряда вон выходящим.

Денис Давыдов оставил об этом специальный мемуар «Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау 1807 года января 26-го и 27-го»²⁵:

«Посвящается Алексею Петровичу Ермолову

²⁵ Даты здесь даны по старому стилю.

Дела давно минувших лет...
Оссиан».

И Ермолов, и Оссиан здесь далеко не случайны. Очерк «Воспоминание» написан в первой половине 1830-х годов и опубликован в «Библиотеке для чтения» в 1835 году, когда Ермолов оказался в глухой отставке, хотя и числился в Государственном совете. В отставке был и нелюбимый Николаем генерал-лейтенант Давыдов.

Денису Васильевичу важно было напомнить обществу о героических временах, когда оба они с Ермоловым играли активные и героические роли – каждый на своем месте: Ермолов будучи командиром всей артиллерии авангарда, а Давыдов, штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, – адъютантом Багратиона, который авангардом и командовал.

Давыдов очень точно определяет историческое место сражения, ставя его рядом с Бородином, что весьма принципиально.

«Сражение при Прейсиш-Эйлау почти свежо с памяти современников бурей Бородинского сражения, и потому многие дают преимущества последнему перед первым. Поистине, предмет спора оружия под Бородиным был возвышеннее, величественнее, более хватался за сердце русское, чем спор оружия под Эйлау; под Бородиным дело шло быть или не быть России. Это сражение – наше собственное, наше родное сражение... Предмет спора оружия под Эйлау представляется с иной точки зрения. Правда, что он был кровавым предисловием Наполеонова вторжения в Россию, но кто тогда видел это? Несколько избранных природою, более других одаренных проницательностью; большей же части из нас он казался усилием, чуждым существенных польз России, единым спором и щегольством военной славы обеих сражавшихся армий, окончательным zakładом: чья возьмет, и понтировкою на удалство, в надежде на рукоплескание зрителей, с полным еще кошельком в кармане, а не игрою на последний приют, на последний кусок хлеба и на пулю в лоб при проигрыше, как это было под Бородиным».

Кого имел в виду Давыдов, когда говорил о «нескольких избранных», понимавших значение битвы при Эйлау? Не Ермолова ли, которому посвятил свой мемуар? Тому Ермолову, который в каждом столкновении с Наполеоном искал то зерно, из которого должна была, по его убеждению, произрасти победа?

Давыдов пишет: «Необходимо было удержать стремление неприятеля, чтобы дать время и батарейной артиллерии примкнуть к армии и армии довершить свое разрешение и упрочить оседлость позиции. <...> Полковник Ермолов, командовавший всею артиллерией арьергарда, сыпал картечи в густоту наступающих колонн, коих передние ряды ложились лоском, но следующие шагали по трупам их и валили вперед, не укрощаясь ни в отваге, ни в наглости.

Несмотря на все наши усилия удержать место боя, арьергард оттеснен был к городу. <...> Неприятель, усилив решительный натиск своей свежей силой, вломился в город...»

Город назывался Прейсиш-Эйлау.

Взяв резервную дивизию и встав во главе нее, Багратион отбил город. Наступившая ночь прервала сражение.

Нет надобности и возможности подробно описывать кровавую бойню под Прейсиш-Эйлау. Мы остановимся на том, что так или иначе имело отношение к Ермолову. Не только потому, что он был активным действующим лицом этого события, но и по психологическим для него последствиям этого страшного пролога Бородина.

Конноартиллерийские роты Ермолова активно действовали в начале сражения, когда обе армии только еще занимали свои позиции, подтягивая отставшие части. На этом этапе Ермолов по-прежнему был в арьергарде Багратиона, сдерживая напор французов: «Оборотившись против оных и способствуемы местоположением, долго дрались мы упорно. <...> Багратион отпустил назад всю кавалерию и часть артиллерии, дабы свободнее быть в движе-

ниях. <...> Около двух часов имели мы выгоды на нашей стороне; наконец двинулся неприятель большими силами; идущие впереди три колонны направлены одна по большой дороге, где у нас мало было пехоты, другая против Псковского и Софийского мушкетерских полков, и третья против моей батареи из 24-х орудий. Шедшая по большой дороге проходила с удобностью и угрожала взять в тыл твердейший пункт нашей позиции. Прочие медленно приближались по причине глубокого снега, лежащего на равнине, и долго были под картечными выстрелами. Однако же дошла одна, хотя весьма расстроенная, и легла от штыков Псковского и Софийского полков, другая положила тела свои недалеко от фронта моей батареи».

У нас уже шла речь о скромности автора записок в описании своих действий. Другой в этой ситуации мог бы развернуть яркую сцену расстрела в упор картечью атакующей колонны неприятеля. Ермолов ограничивается сдержанной полуфразой, из которой, однако, все ясно – атакующие были подпущены на минимальное расстояние, на котором картечь становилась сокрушительным препятствием. Это был излюбленный прием Ермолова, сколь опасный для артиллеристов, столь и эффективный.

Все время отхода арьергарда конные роты Ермолова прикрывали отступавшие войска, сдерживая неприятеля.

Теперь надо понять, где находился Ермолов со своей конной артиллерией в решающие моменты сражения.

Чандлер пишет: «Даву теперь присутствовал со всеми силами, и в час дня Наполеон направил их вперед (с Сент-Илером на их левом фланге) в широкий охват вокруг открытого фланга Толстого. <...> Всю вторую половину дня шли ожесточенные бои на южном фланге, и понемногу, но уверенно, Даву оттеснял назад русских, пока линия Беннигсена не стала напоминать форму шпильки (очевидно, Чандлер имеет в виду, что отступавший под напором Даву фланг русской армии образовал острый угол по отношению к остальным ее частям. – Я. Г.). Около 3.30 дня стало казаться, что вот-вот произойдет разрыв русской линии – и в этот момент на угрожающем фланге появился прусский корпус под командованием Лестока»²⁶.

Обратимся к запискам Ермолова: «Вскоре после начала сражения на правом нашем фланге слышна была в отдалении канонада. Известно было, что маршал Ней преследует корпус прусских войск в команде генерала Лестока, которому главнокомандующий приказал сколько можно ранее присоединиться к армии, но чего он не выполнил. Когда неприятель около двух часов пополудни возобновил усилия, главнокомандующий послал подтверждение, чтобы он шел сколько можно поспешнее, но между тем надобно было чем-то умедлить успехи неприятеля на левом крыле нашем. Посланная туда 8-я дивизия отозвана к центру, где необходимо было умножение сил; резервы наши давно уже были в действии. Итак, мне приказано было идти туда с двумя конными ротами. Дежурный генерал-лейтенант граф Толстой махнул рукою влево, и я должен был принять сие за направление. Я не знал, с каким намерением я туда отправляюсь, кого там найду, к кому поступлю под начальство. Присоединив еще одну роту конной артиллерии, прибыл я на обширное поле оконечности левого фланга, где слабые остатки войск едва держались против превосходного неприятеля, который продвинулся вправо, занял высоты батареями и одну мызу уже почти в тылу войск наших».

Это был тот самый маневр полков маршала Даву, направленных Наполеоном в обход левого фланга. Поскольку левый фланг и так уже составлял, по свидетельству Ермолова, прямой угол по отношению к фронту русской армии, то дальнейшее его отступление грозило выходом в русский тыл крупных неприятельских сил, что вело к катастрофе.

Ермолов с его конноартиллерийскими ротами фактически был в резерве. Его ввели в действие в критический момент. И как это не раз бывало, он спас положение: «Я зажег сию последнюю (мызу. – Я. Г.) и выгнал пехоту, которая вредила мне своими выстрелами.

²⁶ Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. М., 2000. С. 338.

Против батарей начал я канонаду и сохранил место свое около двух часов. Тогда начал приближаться корпус генерала Лестока, в голове колонны шли два наших полка, Калужский и Выборгский, направляясь на оконечность неприятельского фланга. Против меня стали реже выстрелы и я увидел большую часть орудий, обратившихся на генерала Лестока. Я подвигал на людях свою батарею всякий раз, как она покрывалась дымом, отослал назад передки орудий и всех лошадей, начиная с моей собственной, объявил людям, что об отступлении помышлять не должно. Я подошел почти под выстрелы и все внимание обращал на дорогу, лежащую у подошвы возвышения, по которой неприятель усиливался провести свою пехоту, ибо по причине глубокого снега нельзя было пройти стороною. Картечными выстрелами из тридцати орудий всякий раз обращал я его с большим уроном. Словом, до конца сражения не прошел он мимо моей батареи».

Это означало, что хотя Даву и сильно потеснил левый фланг русской армии, но завершить гибельный для нее маневр ему не дали 30 орудий Ермолова.

Чандлер меланхолически подвел итог эйлаускому побоищу: «Четырнадцать часов непрерывного сражения так и не дали никакого результата, хотя многочисленные воины – цвет и французской и русской армий – лежали мертвые или погибли от ран и замерзли на кровавом снегу»²⁷.

Потери обеих армий были огромны. Французы потеряли не менее 25 тысяч, а русские – не менее 15.

Поскольку Беннигсен истощил все свои резервы, а у Наполеона остались нетронутой гвардия и сильный корпус Бернадотта, то, вопреки настоянию многих генералов, Беннигсен решил отступить. Ночью русская армия ушла со своих позиций.

Измученные французы не в силах были ее преследовать.

Через две недели в результате ряда маневров русская армия снова проходила мимо Прейсиш-Эйлау, и Ермолов оставил в воспоминаниях в высшей степени характерную для него, военного профессионала, запись: «С любопытством осматривал я поле сражения.

Я ужаснулся, увидевши число тел на местах, где стояли наши линии, но еще более нашел их там, где были войска неприятеля, и особенно, где стеснялись его колонны, готовясь к нападению, не взирая, что в продолжение нескольких дней приказано было жителям местечка (как то они сами сказывали) тела французов отвозить в ближайшее озеро, ибо нельзя было зарывать в землю замерзшую. Как артиллерийский офицер примечал я действие наших батарей и был доволен. В местечке не было целого дома; сожжен квартал, где, по словам жителей, сносились раненые, причем много их истреблено».

Какими-либо комментариями по поводу увиденного и услышанного – в частности, о гибели в огне раненых в результате действия русской артиллерии – Алексей Петрович пренебрег...

...В своих «Записках» декабрист князь Сергей Григорьевич Волконский, в 1807 году – поручик Кавалергардского полка, вспоминал: «Говоря о Прейсиш-Эйлау, как не упомянуть о Ермолове, с этого сражения началась его знаменитость в военном деле».

7

Для Ермолова это сражение при Прейсиш-Эйлау имело особое значение. Прежде всего, его отчаянную смелость и твердость невозможно было не заметить: «Главкомандующий, желая видеть ближе действия генерала Лестока, был на левом фланге и удивлен был, нашедши от моих рот всех лошадей, все передки и ни одного орудия; узнавши о причине, был чрезвычайно доволен».

²⁷ Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. М., 2000. С. 339.

Он снискал не только благоволение Беннигсена, симпатизировавшего ему с юности: «Между многими чиновниками, представленными великому князю, удостоился и я его приветствия, по засвидетельствованию князя Багратиона о моей службе. До того не был я ему известен, никогда не служивши в столице».

Впоследствии знакомство с великим князем Константином Павловичем приняло форму своеобразной дружбы, несомненно Ермолову полезной.

Но главным было другое: «Вскоре приказано было готовиться к встрече государя вместе с королем прусским. Построив единообразно шалаши, дали мы им опрятную наружность и лагерю вид стройности. Выбрав в полках людей менее голых, пополнили с других одежду и показали их под ружьем. Обнаженных спрятали в лесу и расположили на одной отдаленной высоте в виде аванпоста. Тут увидел я удобный способ представлять войска и как уверяют государя, что они ни в чем не имеют недостатка. Подъезжая к каждой части войск, он называл начальников по фамилии прусскому королю и между прочим сказал обо мне, что и в прежнюю кампанию доволен был моей службою. <...> Я был вне себя от радости, ибо не был избалован в службе приветствиями. Король прусский дал орден за достоинство трем штаб-офицерам, в числе коих и я находился».

Пятилетние усилия после ссылки дали наконец реальные плоды. Мечты о великом поприще обретали почву.

«Вышли награды на Прейсиш-Эйлавское сражение. Вместо 3-го класса Георгия, к которому удостоен я был главнокомандующим, я получил Владимира.

В действии сделан мне участником артиллерии генерал-майор граф Кутайсов. Его одно любопытство привело на мою батарею, и как я не был в его команде, то он и не мешался в мои распоряжения. Однако, не имевши даже 4-го класса, ему дан орден Георгия 3-го класса. <...> Князь Багратион объяснил главнокомандующему сделанную мне несправедливость, и он, признавая сам, что я обижен, ничего однако же не сделал. Вот продолжение тех приятностей по службе, которыми довольно часто я наделяем!»

То, что высокий орден получил вместо Ермолова Кутайсов, сын того самого любимца Павла, которому Ермолов собирался писать из ссылки, неудивительно. Он был близок ко двору, его хорошо знал Александр, который и принимал такие решения, и Беннигсен тут был бессилен.

И, однако же, несмотря на эти обиды, Ермолов мог быть доволен. Впервые он по-настоящему обратил на себя внимание высших начальников. Во время промежуточных боев между Прейсиш-Эйлау и решающим сражением у Фридланда он не раз отличился: «В сей день с моею ротою я был в ужаснейшем огне и одну неприятельскую батарею сбил, не употребляя других выстрелов, кроме картечных».

Во время встречного боя у Гейльсберга он едва не погиб: «Неприятельская кавалерия прорывала наши линии, и с тылу взяты были некоторые из моих орудий. Одна из атак столько была решительна, что большая часть нашей конницы опрокинута за селение Лангевизе. Но расположенные в оном егерские полки генерала Раевского остановили успех неприятеля, и конница наша, устроившись, возвратилась на свое место, и отбиты потерянные орудия. Я спасся благодаря быстроте моей лошади, ибо во время действия батареи часть конницы приехала с тылу и на меня бросились несколько человек французских кирасир <...> – Главнокомандующий благодарил меня за службу, а великий князь оказал мне особое благоволение».

При Гейльсберге Ермолов укрепил свою репутацию в глазах Константина Павловича, который, формально не командуя ни одним соединением, выполнял роль наблюдателя и представлял командуемого на правом фланге. Том самом, где были Багратион и Ермолов с конноартиллерийской ротой.

Когда кавалерия Мюрата потеснила русскую кавалерию и над правым флангом нависла опасность обхода, именно Константин удачно сманеврировал артиллерией, открывшей огонь по флангу наступающих дивизий маршала Сульта и заставившей их отступить.

Ермолов со свойственным ему дерзким хладнокровием выжидал, пока французы не приблизятся на минимальное расстояние. Константина это нервировало, и он послал адъютанта поторопить артиллеристов. Тогда Ермолов произнес известную фразу, которая восхитила великого князя: «Я буду стрелять, когда различу белокурых от черноволосых».

Ермолов знал, кому он адресует свой ответ.

Константин оценил и выдержку полковника, и его способность нетривиально выразиться. Он и сам был известный остролов.

«Особое благоволение» вздорного и придирчивого Константина стоило дорогого. Немногие могли им похвастаться...

Бойня при Прейсиш-Эйлау и полупобеда при Гейльсберге нанесли сильнейший удар по репутации Наполеона. Он в обоих случаях заставил русскую армию покинуть позиции, но отнюдь не разгромил ее. Результаты битв ничуть не напоминали победы над пруссаками и австрийцами, а потери были тяжкие.

Наполеон понимал, что только решительная победа может загладить эйлаускую неудачу и безрезультатность более мелких столкновений.

А для Ермолова происшедшее стало еще одним сильным аргументом в пользу его уверенности – Наполеона можно победить. Он был уверен, что причины успехов французского гиганта не только и, быть может, не столько в его военном гении, сколько в посредственности противостоящих ему военачальников.

К Ермолову возвращалось его высокомерие. По-настоящему он уважал только Багратиона.

Наконец 2 июня наступила развязка – сражение при Фридланде. Разгром русской армии, однако, не перечеркнул уверенность Ермолова в уязвимости Наполеона, но укрепил его пренебрежение к собственному командованию.

Беннигсен, как с полным основанием утверждают военные историки, выбрал для сражения наихудшую позицию. Он не рассчитывал столкнуться со всей армией Наполеона, а предполагал, что перед ним передовой корпус Ланна, который он надеялся разгромить до прибытия главных французских сил. Ланн, однако, не дал себя разгромить, а Наполеон начал решительное наступление под вечер, в 5 часов 30 минут пополудни, когда обычно боевые действия прекращались. Но Беннигсен, сознавая слабость позиции, намеревался отвести армию за реку Алле, тылом к которой стояли русские дивизии, а Наполеон, только под вечер прибывший на место боя, мгновенно понял роковую ошибку противника. Этим и было вызвано вечернее наступление.

Сгрудившаяся на небольшом пространстве, прижатая к реке армия Беннигсена оказалась в смертельной ловушке.

Ермолов, мастер картечного огня в упор, имел скорбную возможность наблюдать его действие со стороны противника.

«Мы занялись продолжительною бесплодною перестрелкою и бесполезно потеряли столько времени, что прибыла кавалерия против нашего правого фланга и лес против арриергарда наполнился пехотою. <...> В шесть часов вечера прибыл Наполеон, и вся армия соединилась. Скрывая за лесом движения, главные силы собрались против левого крыла; в опушке леса неприметно устроилась батарея в сорок орудий, и началась ужасная канонада. По близости расстояния выстрелы были горизонтальные, и первые не могли выдержать конные полки арриергарда. Вскоре он отступил также. Все вообще войска начали отступать к мостам. <...> С артиллериею арриергарда успел я перейти по ближайшему понтонному мосту...»

Ермолову повезло. Счастье снова ему благоприятствовало. Основную часть русской армии, в беспорядке отступавшей к немногочисленным мостам, французская артиллерия расстреливала в упор.

Марбо, весьма неточно описывавший ход битвы, участником которой он был, тем не менее дает представление об ожесточенности боя: «Русские в ярости героически защищались и, хотя были окружены со всех сторон, тем не менее отказывались сдаваться. Многие из них умерли под ударами наших штыков, а остальные скатились с высоких берегов в реку, где почти все утонули. <...> Во время битвы мы взяли немного пленных, но число убитых или раненых врагов было огромным».

Чандлер, как обычно опирающийся на разного рода источники, дает картину, вполне совпадающую со свидетельством Ермолова, но более подробную.

«Солдаты Беннигсена стали, отступая, сбиваться все плотнее и плотнее на все уменьшавшемся участке местности. Виктор полностью использовал свои возможности и выдвинул более тридцати пушек к фронту своего корпусного района. Под командой способного артиллерийского генерала Сенариона канониры смело вручную передвигали вперед скачками свои пушки. Начавшись с 1600 ярдов, дистанция быстро уменьшилась до 600 шагов, тогда пушки остановились и дали страшный залп по плотной массе русских. Вскоре пушки были уже на дистанции 300, а затем 150 ярдов от русской линии фронта, изрыгая смерть с монотонной регулярностью. Наконец артиллеристы подтащили свои дымящиеся орудия на 60 шагов до пехоты Беннигсена. На этом расстоянии прямой наводкой французская картечь косила ряды противника»²⁸.

Отчаянные атаки русской кавалерии и гвардейских полков исправить положение не могли. Как писал Ермолов, «та же ужасная батарея остановила храбрый порыв».

Это был разгром. Беннигсен, еще недавно уверенный в своем превосходстве над французским императором, требовал от Александра срочного заключения перемирия. Государь колебался. После Прейсиш-Эйлау и Гейльсберга он рассчитывал на иной результат.

Тогда великий князь Константин Павлович предложил старшему брату дать каждому русскому солдату по пистолету и приказать застрелиться. Это был бы более быстрый и гуманный способ покончить со своей армией.

Александр должен был ответить на вопрос: ради кого погибали русские солдаты? Правдивый ответ мог быть только один – ради интересов Пруссии и Англии.

Есть версия разговора августейших братьев, по которой Константин напомнил Александру о судьбе их отца и сообщил о ропоте офицеров, уставших от унижительных поражений.

Судя по тону записок, поражение при Фридланде поколебало даже упрямую воинственность Ермолова. В его описании переговоров о мире после Фридланда чувствуется вздох облегчения: «Наполеон желает мира, не перемирия!»

Нет надобности рассказывать здесь историю свидания двух императоров на плоту посредине Немана под городком Тильзит, вошедшим таким образом в историю.

Мы не знаем, что чувствовал наш герой, наблюдая совместный марш французской и русской гвардий перед двумя императорами после переговоров, начавшихся фразой Наполеона: «Из-за чего мы воюем?»

Очевидно, как и у многих русских военных, чувства эти были двойственные. Облегчение оттого, что прекратилось непрерывное кровопролитие, которому еще вчера не видно было конца, и чувство унижения, поскольку переговоры велись с победителем.

После Пултуска и Эйлау, вселивших такие надежды, Наполеон продемонстрировал всю мощь своего военного гения и высочайшие качества французской армии.

²⁸ Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. М., 2000. С. 357.

Правда, мир нужен был французскому титану не меньше, чем его противникам. Солдаты были изнурены и не понимали цели своих тяжких усилий.

Франция ждала мира. Ей ничего не угрожало.

«Из-за чего мы воюем?» Это был вопрос из области большой политики.

Смысл своей личной войны Ермолов сформулировал подробно и отчетливо: «Итак, кончил я войну с самого начала оной и до заключения мира в должности начальника артиллерии в авангарде. По особенному счастью моему, не потерял я в роте моей ни одного орудия, тогда как многие в обстоятельствах гораздо менее затруднительных лишились оных».

Он действительно был на удивление удачлив. Он сам ставил своих артиллеристов в положения предельно затруднительные, когда не потерять орудия было невозможно! «В сражении при Гейльсберге многие из орудий впадали в руки неприятеля, ибо приказано было мною офицерам менее заботиться о сохранении пушек, как о том, чтобы на самом близком расстоянии последними выстрелами заплатили за себя, если будут оставлены».

Однако все попавшие в руки французов орудия ермоловской роты были тут же отбиты русскими драгунами.

«О распоряжении моем, спасающем ответственность за оставленные орудия, известно было начальству и доведено до сведения самого государя, который впоследствии весьма милостиво о том меня спрашивал».

Ермолов был мастер не просто героических, но эффектно героических поступков. Он рисковал жизнями своих подчиненных и своей собственной, но уверен был, что в случае удачи риск окупится.

Это была та самая установка на «подвиг», без которого ему не вырваться было из общего ряда.

Заканчивая раздел записок о войнах 1805–1807 годов, он подробно и деловито подвел итог преимуществам, полученным в результате своего профессионального умения, доблести – иногда самоубийственной – и таланта «показать товар лицом»: «Я имел счастье приобрести благоволение великого князя Константина Павловича, который о службе моей отзывался с похвалою. Князя Багратиона пользовался я особым благорасположением и доверенностью. Он делал мне поручения по службе, не одному моему званию принадлежащие. Два раза представлен я им к производству в генерал-майоры, и он со своей стороны делал возможное настояние, но потому безуспешно, что не было еще до того производства за отличия, а единственно по старшинству. Между товарищами я снискал уважение, подчиненные были ко мне привязаны. Словом, по службе открывались мне новые виды и надежда менее испытывать неприятностей, нежели прежде. В продолжение войны я получил следующие награды: за сражение при Голимине золотую шпагу с надписью „За храбрость“, при Прейсиш-Эйлау Св. Владимира 3-й степени, при Гутштатте и Пасарге Св. Георгия 3-го класса и при Гейльсберге алмазные знаки Св. Анны 2-го класса».

Проигранная война закончилась для полковника Ермолова весьма успешно. Потому что это была война, его стихия, и только в этой стихии, вне зависимости от конечного стратегического результата, он мог показать, на что способен.

О новом положении Ермолова и его резко возросшей репутации в армии свидетельствуют записки генерала Беннигсена о войне 1807 года. Полковник Ермолов постоянно возникает на страницах записок, хотя, что естественно, главными персонажами в них являются лица в куда более высоких чинах.

Ермолов оказался среди двух-трех штаб-офицеров, которых Беннигсен считал необходимым, так сказать, оставить в истории этой войны – и в истории вообще.

«Этими батареями распоряжался и командовал искусный и храбрый полковник конной артиллерии Ермолов – офицер, с величайшим отличием действовавший во всех делах этой кампании, о котором я буду иметь случай часто упоминать в моих записках».

«Полковник Ермолов очень отличился при этом случае: он сумел очень хорошо воспользоваться местностью и, поставив выгодно свою конную батарею, открывал огонь так удачно, что неприятель с большой осмотрительностью следовал за нашим арьергардом».

«Сильная колонна неприятельской кавалерии пыталась обойти наш отряд с правого фланга. Храбрый полковник Ермолов с двумя орудиями своей конноартиллерийской роты выдвинулся вперед и перебил много людей у французов, бросившихся на эту маленькую батарею и скоро ею овладевших. Генерал Корф немедленно атаковал неприятеля, в свою очередь опрокинул его и взял обратно наши два орудия, одно мгновение находившиеся в руках французов».

Эти эпизоды относятся к разным сражениям кампании 1807 года. Причем последний эпизод – это бой при Гейльсберге – наиболее характерен для боевого стиля Ермолова: самоубийственно дерзкого. «Особенное счастье» и в самом деле сопутствовало ему. По логике вещей он должен был погибнуть, но не был ни разу даже ранен.

Беннигсен знал Ермолова с детства и благоволил к нему, но тут ему не надо было кривить душой, обращая особое внимание современников и потомков на «храброго полковника». Ермолов и в самом деле проявил себя с блеском. Полученные им награды вполне соответствовали его реальным заслугам.

Но удивительно: несмотря на благожелательность Кутузова, восхищение Беннигсена, поддержку, которую оказывали ему великий князь Константин Павлович и Багратион, – словно бы какая-то тень лежала на его пути к высоким наградам и скорому продвижению в чинах.

Тем не менее по сравнению с довоенным положением своим Ермолов сделал стремительный рывок. Свое обещание, данное Казадаеву – «вернуть потерянное с конца шпаги», он выполнил.

Теперь ему предстояло точно выбрать стиль поведения в новой, мирной, ситуации, чтобы снова не попасть в мертвую паузу.

Военные заслуги при обилии решительных карьеристов с сильными протекциями могли оказаться бесполезными. Слишком многое в русской армии зависело от личных отношений с вышестоящими.

Но в случае с Ермоловым был и еще один редкий фактор, который не мог не оказать давления на непосредственное начальство Алексея Петровича, равно как в свое время роковым образом сказался на отношении к нему высшей власти. Это было его мощное личное обаяние.

Граббе, близко знавший его и много лет наблюдавший его воздействие на окружающих, писал: «Народность (то есть популярность. – Я. Г.) его принадлежит очарованию, от него лично исходившему. <...> Наружность его была значительна и поражала с первого взгляда. Рост высокий, профиль римский, глаза небольшие серые, углубленные, но одаренные быстрым, пронизательным взглядом; голос приятный, необыкновенно вкрадчивый; дар слова редкий, желание очаровать всех и каждого, иногда слишком заметное, без строгого разбора как самих лиц, так и собственных выражений. Это последнее свойство, без меры развиваемое, привязывало к нему множество людей, толпе принадлежащих, и остерегало многих, более внимания достойных. Впоследствии оно же дало ход едкому слову, с высока на него павшему: *c'est heros des engeignes*²⁹. Это правда, но не одних прапорщиков».

Это конечно же слова Николая I.

²⁹ Это – герой прапорщиков (*фр.*).

В «Записках» Ермолова мы не найдем патриотических деклараций, равно как не найдем их и в «Записках о галльской войне» Цезаря, и в «Египетском походе» Бонапарта.

Все трое рассматривали себя как исторических персонажей и писали свою историю.

Но как же соотносилось понимание Ермоловым интересов Отечества с его же необъятным честолюбием?

Без сомнения, он сознавал себя солдатом Российской империи более, чем слугой конкретного государя. Но и это был лишь один слой его сознания. Его видение себя в мире было куда объемнее.

Этим он принципиально отличался от блестящего и удачливого Воронцова, для которого сфера честолюбия не выходила за границы системы.

С существенными оговорками можно проводить параллели между самоощущением Ермолова и таковым же Михаила Орлова.

Пока что Ермолову нужно было осваиваться в мирной реальности, куда менее для него органичной, чем реальность войны.

Особый и достаточно запутанный сюжет ермоловской биографии – его отношения с Аракчеевым, длящиеся с момента его вступления на службу после ссылки и по кавказский период.

Как мы помним, отношения эти складывались тяжело и для Ермолова крайне неприятно.

Явная неприязнь к нему Аракчеева объяснялась по-разному. Мы помним беспричинно дерзкий ответ подполковника инспектору артиллерии, взбесивший Аракчеева. Эта дерзость могла быть вызвана давней нелюбовью к Аракчееву, «бутову слуге», того круга офицеров, к которому Ермолов принадлежал во времена Несвижа.

То есть у них была достаточно давняя история отношений, окрашенная и политически.

Были и совсем простые, явно апокрифические версии. Так, Денис Давыдов утверждал: «Граф Аракчеев, почитая Ермолова прежним фаворитом, преследовал его весьма долго; оставаясь в чине подполковника в продолжение девяти лет, Ермолов думал одно время, перейдя в инженеры, сопровождать генерала Анрепа на Ионические острова. Когда генерал Бухмейер объяснил графу его ошибку, этот последний решился вознаградить Ермолова за все прошедшее».

Хотя ничего подобного быть на самом деле не могло.

Александр Петрович Ермолов, довольно дальний родственник нашего героя, родился в 1754 году. В «случай» он попал в 1785 году и состоял в фаворитах год и четыре месяца. Аракчеев в это время был кадетом Артиллерийского и Инженерного кадетского корпуса. Фаворит императрицы генерал Ермолов безусловно был известен кадетам.

В начале XIX века, когда Аракчеев впервые увидел Алексея Петровича, бывшему фавориту было около пятидесяти лет. Спутать 25-летнего подполковника с 50-летним генералом Аракчеев никак не мог. Другое дело, что ему, возможно, не понравилась фамилия, вызывавшая малоприятные ассоциации у преданного памяти Павла Аракчеева. Но главное все же заключалось в стиле поведения молодого офицера, прилюдно оскорбившего высокого начальника.

Тем более странно, что с какого-то момента Аракчеев стал явно покровительствовать Ермолову. Резкий поворот в его отношении к Ермолову произошел в конце 1807 года, после Тильзита.

Ермолов вспоминал: «В конце августа прибыл инспектор всей артиллерии граф Аракчеев, осмотрел артиллерию, распределил укомплектование оной и, продолжая прежнее ко

мне неблаговоление, приказал мне оставаться в лагере по 1-ое число октября, когда всем прочим артиллерийским бригадам назначено итти по квартирам 1-го сентября. К сему весьма грубым образом прибавил он, что я должен был приехать к нему в Витебск для объяснения о недостатках. Я отвечал, что неблагоприятное расположение ко мне не должно препятствовать рассмотрению моих рапортов. Оскорбили меня подобные грубости, и я не скрывал намерения непременно оставить службу. Узнавши о сем, граф Аракчеев призвал меня к себе и предложил дать мне отпуск для свидания с родственниками, приказал приехать в Петербург, чтобы со мною лучше познакомиться».

Более того, Аракчеев стал ходатайствовать за Ермолова перед императором.

12 декабря 1807 года он отправил Ермолову письмо из Петербурга:

«Милостивый Государь,
Алексей Петрович!

При оставлении по болезни моей командование Артиллерийским Департаментом, я почел приятным себе долгом отличить роту, вами командуемую, перед Государем Императором, испрося на имя ваше у сего препровождаемый рескрипт, не имея ничего у себя более ввиду, как доказать вам, милостивому государю, то уважение, которое я всегда имел к службе вашей, а вас прося при оном случае, дабы вы оставались ко мне всегда хорошим приятелем, чего желает пребывающий к вам с почтением и преданностью,

милостивый государь, покорный слуга,

Граф Аракчеев».

Рескрипт – собственноручно написанное или подписанное письмо императора штаб-офицеру – большая редкость в александровское царствование. И есть все основания считать, что Аракчеев пишет чистую правду. Маловероятно, что это могло быть личной инициативой Александра.

В рескрипте было сказано:

«Господину артиллерии полковнику Ермолову.

Отличное действие в прошедшую кампанию командуемой вами конноартиллерийской роты подает мне приятный повод изъяснить оной особое мое благоволение, а вместе с сим инспектор артиллерии граф Аракчеев препроводит к вам тысячу рублей для награждения в роте, по вашему назначению, тех фейерверкеров и рядовых, кои по отличному своему знанию артиллерийской науки, заслуживают уважение, что самое примите в знак и к вам особого моего благоволения.

В С.-Петербурге. Ноября 30-го дня 1807 года.

На подлинном подписано:

Александр».

Что же произошло? Еще недавно Аракчеев с присущей ему грубостью требовал объяснения «в недостатках», а теперь толкует о всегдашнем уважении к службе Ермолова и просит быть его приятелем.

Давыдов предлагает еще одно объяснение: «П. И. Меллер-Закомельский содействовал своим отзывом перемене расположения Аракчеева к Ермолову». Вполне возможно, что было и это. Во время войны 1805 года он командовал артиллерией армии, в которой состояла и рота Ермолова, и, соответственно, знал его. А в декабре 1807 года Меллер-Закомельский сменил Аракчеева на посту инспектора всей артиллерии.

Но скорее всего, решающую роль сыграло другое.

Трудно сказать, собирался ли Ермолов на самом деле идти в отставку.

Мы уже говорили, что вне армии его ждала малопривлекательная жизнь средней руки статского чиновника. Других источников дохода, кроме жалованья, у него не было. Это было бы крушение всех его честолюбивых мечтаний.

Скорее всего, настойчивые разговоры Ермолова о своей отставке, рассчитанные на то, что они дойдут до высшего начальства, были тактическим ходом. И он сработал.

Аракчеев был грубым и жестоким, на нем числится немало тяжких грехов. Зато в числе его несомненных достоинств было то, что граф был не только фанатично предан артиллерийскому делу, но и обладал незаурядными организаторскими способностями. Его заслуги перед русской артиллерией несомненны. Он мог не любить Ермолова – этот самоуверенный и дерзкий офицер с сомнительным прошлым и фамилией, вызывающей вполне определенные ассоциации, его раздражал. И не мог не раздражать. Но, сам будучи профессионалом, Аракчеев не мог не видеть профессионализма Ермолова.

Когда же он узнал о намерении полковника подать в отставку, у него должны были появиться два соображения.

Во-первых, ему наверняка было жаль терять хорошего артиллериста. Одно дело – преследовать его мелкими придирками и грубостями, и совсем другое – лишиться его.

Во-вторых, и это, надо полагать, главное, – Аракчеев знал, что Ермолов известен Александру и государь отметил отчаянного полковника. Указ о его отставке должен был пройти утверждение императора. И тогда неизбежно встал бы вопрос: почему хороший боевой офицер, кавалер ордена Святого Георгия 3-го класса, уважаемый известными военачальниками, вдруг подает в отставку? Если бы император узнал, что причиной тому оскорбительное отношение к Ермолову Аракчеева, то последнему пришлось бы объясняться с государем. Причем аргументов у него не нашлось бы.

Гораздо выгоднее было в данной ситуации покровительствовать полковнику, который имел шансы стать любимцем императора, чем преследовать его.

Ермолов, наученный суровым жизненным опытом и прекрасно понимающий механизмы карьеры в русской армии, счел благоразумным это покровительство принять, не теряя при этом достоинства.

Он понимал, что судьба его в конечном счете зависела теперь от императора...

При этом надо сознавать – понимал это и сам Ермолов, – что, несмотря на все свои успехи, для русского общества он был фигурой малозаметной.

Вигель, внимательнейшим образом следивший за современной ему историей, рисуя в своих записках картину будущей «Илиады», посвященной Отечественной войне, все расставил по местам: «И ты предстанешь тут, близнец его (Воронцова. – Я. Г.) во славе, менее его счастливый, но гораздо более чтимый, чудный Ермолов, чье имя, священное для русских, почти в первый раз тогда им прогремело».

«Почти в первый раз» имя Ермолова, по мнению Вигеля, оказалось на слуху в 1812 году. А во время кампаний 1805–1807 годов двадцатилетний Вигель, служивший в Министерстве иностранных дел и в Министерстве внутренних дел, знал, разумеется, чьи имена тогда гремели.

Полковнику Ермолову, замеченному императором, снискавшему благоволение Аракчеева, оцененному крупнейшими военачальниками, еще предстоял долгий путь к осуществлению проектов, которые соответствовали его «необъятному честолюбию».

В начале 1808 года Ермолов приехал в Петербург, где был принят Аракчеевым, который сообщил ему, что за отличия в последней войне император пожаловал двум конноартиллерийским ротам специальные нашивки на мундиры. Это были роты Ермолова и князя Яшвиля, который долгие годы оставался соперником Алексея Петровича на артиллерийском поприще.

Аракчеев лично представил Ермолова императору.

Казалось, за всем этим должен был последовать незаурядный карьерный взлет.

Обстоятельства, однако, сложились несколько по-иному.

«Пробыв в Петербурге три дня, я подал графу Аракчееву записку о том, что во время ссылки моей при покойном императоре Павле I-м многие обошли меня в чине, и потому состою я почти последним полковником артиллерии. Я объяснил ему, что если не получу я принадлежащего мне старшинства, я почту и то немалую выгодою, что ему, как военному министру, известно будет, что я лишен службы не по причине неспособности к оной».

Вряд ли это был удачный ход. Аракчеев не мог не знать дело «канальского цеха» и наверняка считал, что смутьяны получили по заслугам. Напоминать ему о гонениях павловских времен, в которых он сам принимал деятельное участие, было неразумно. Тем более что Аракчеев прекрасно знал цену Ермолову как артиллеристу, и пассаж этот мог быть воспринят как едкая ирония.

Но Алексей Петрович давал понять министру и через него, возможно, императору, что лестного рескрипта, нашивок на мундир и ласкового приема ему мало.

Ответа не последовало. Он почувствовал, что зарвался, и немедленно уехал из столицы в Орел к отцу. Там он узнал, что «при общем производстве по артиллерии пожалован генерал-майором и назначен инспектором части конноартиллерийских рот, с прибавлением к жалованию двух тысяч рублей».

Тут важна формулировка – «при общем производстве». Ему дали понять, и он понял, что он отнюдь не находится на особом положении. Он получил следующий чин вместе с другими, когда подошел положенный срок.

Подлежащие его инспекции роты дислоцировались главным образом в Молдавии. Куда он и отправился. В ту самую Молдавию, где он начинал свою службу без малого 20 лет назад юным капитаном с сильной протекцией.

Пауза

1

С этого времени, на первый взгляд для Ермолова благоприятного, берет начало тенденция, которая требует объяснения. 32-летний генерал-майор с высокой боевой репутацией регулярно получает второстепенные назначения.

В 1809 году Россия вела две войны: с Австрией, вынужденную, как союзницей Наполеона, и вязкую, изнурительную, третий год длящуюся – с Турцией. Ермолов не попал ни на ту, ни на другую.

После Молдавии он был назначен начальником резервных войск в Волынской и Подольской пограничных губерниях и должен был исполнять, по сути дела, полицейские функции. Он понимал, что теряет время.

По окончании войны с Австрией – Наполеон снова стал победителем – сводный отряд Ермолова был передислоцирован в Полтавскую и Черниговскую губернии. Штаб расположился в Киеве, где Алексей Петрович мог «бывать на праздниках, ездить на гуляния», но он-то жаждал совсем иного. Он хотел воевать.

В отчаянии он обратился к Аракчееву, но Змей ответил ему ласковым и ничего не значащим письмом.

Очевидно, у Александра были свои соображения относительно молодого генерала со строптивым характером и честолюбивыми видами. Почему-то он считал нужным держать Ермолова на вторых ролях. Возможно, сказывалось влияние ближнего окружения императора, раздраженного стремительным продвижением Ермолова в кампанию 1806–1807 годов и его независимой повадкой.

Он был не такой, как большинство его сослуживцев. В нем чувствовали завышенные претензии, выходящие за обычные рамки. Он слишком хотел служить. В нем чувствовалась установка на «подвиг». Его честолюбие было какого-то иного, необычного рода. Оно напоминало честолюбие «екатерининских орлов», которым тесно было в структурированном имперском пространстве.

В нем чувствовали что-то опасное. Быть может, ему – несмотря ни на что – не доверяли до конца.

К киевскому периоду относится свидетельство, которое многое объясняет в формировании ермоловского мифа. Это воспоминание знаменитой кавалерист-девицы Дуровой о знакомстве с Алексеем Петровичем, когда она в качестве корнета Александрова оказалась в киевской ставке Ермолова: «Прием генерала был весьма ласков и вежлив. Обращение Ермолова имеет какую-то обворожительную простоту и вместе обязательность. Я заметила в нем черту, заставляющую меня предполагать в Ермолове необыкновенный ум: ни в ком из бывающих у него офицеров не полагает он невоспитания, незнания, неумения жить; с каждым говорит он как с равным себе и не старается упростить свой разговор, чтоб быть понятным; он не имеет смешного предубеждения, что выражения и способ объясняться людей лучшего тона не могут быть понятны для людей среднего сословия. Эта высокая черта ума и доброты предубедила меня видеть все уже с хорошей стороны в нашем генерале. Черты лица и физиономия Ермолова показывают душу великую и непреклонную».

Этот человек, безжалостный на поле боя, способный на хладнокровную жестокость, если этого требовали, по его разумению, обстоятельства, опасно дерзкий с вышестоящими, умел очаровывать и привлекать к себе самых разных людей. И скорее всего, это было не рас-

четливой игрой – хотя элемент игры тоже присутствовал, но феерическим многообразием ермоловской натуры. Возможно, он бывал непобедимо обаятелен именно тогда, когда оказывался самим собой, когда ему не нужно было защищаться, выстраивать линию обороны между собой и враждебной средой. В этом случае он становился «патером Грубером».

2

Странная судьба Ермолова после быстрого выдвижения в 1807 году удивляла его боевых товарищей.

В мае 1811 года, когда Ермолов тосковал в Киеве, он получил красноречивое письмо от генерала Якова Петровича Кульнева, с которым сблизился еще в 1794 году во время Польской кампании. Как и Ермолов, Кульнев отличился при штурме Праги.

Кульнев был старше Ермолова на 14 лет и успел показать себя как лихой кавалерист еще во вторую турецкую войну 1787–1791 годов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.